

**ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ  
Я. А. СЛАЦОВ-КРЫМСКИЙ**





енее чем за четыре месяца до падения Белого Крыма, 6 августа 1920 года, Главнокомандующий Русской Армией генерал П. Н. Врангель издал приказ, отмечавший выдающиеся заслуги одного из своих соратников. Чеканные строки гласили:

«В настоящей братоубийственной войне, среди позора и ужаса измены, среди трусости и корыстолюбия, особенно дороги должны быть для каждого русского человека имена че-

стных и стойких русских людей, которые отдали жизнь и здоровье за счастье Родины. Среди таких имен займет почетное место в истории освобождения России от красного ига – имя генерала Слацова.

...Дабы связать навеки имя генерала Слацова с славной страницей настоящей великой борьбы, – дорогому сердцу Русских воинов генералу Слацову именоваться впредь – Слацов-Крымский».

34-летний генерал Яков Александрович Слацов стал последним в истории России полководцем, официально удостоенным такого почетного титулования. Его имя тем самым ставилось в один ряд с именами таких прославленных вождей Русского Воинства, как Румянцев-Задунайский, Потемкин-Таврический, Суворов-Рымникский, Паскевич-Эриванский, Дибич-Забалканский... и в этом, очевидно, была глубокая внутренняя правда, потому что и сам этот яркий, неординарный человек мог показаться несовременным, как бы пришедшим из-под стен Измаила или с флешей Бородина, где «молодые генералы своих судеб» водили в пороховом дыму гремящие оркестрами пехотные колонны.

Мы не случайно вспомнили стихотворение Марины Цветаевой «Генералы 1812 года». Литературным отражением Слацова традиционно считается Хлудов из булгаковского «Бега», однако внимательное изучение биографии генерала заставляет сделать вывод, что герой Булгакова, безумный, мрачный и окутанный атмосферой бреда и «снов», не только не тождествен личности Якова Александровича, но и во многом ему противоположен, – и наоборот, как будто о Слацове написаны эти восторженные строки:

Вы, чьи широкие шинели  
Напоминали паруса,  
Чьи шпоры весело звенели  
И голоса,

И чьи глаза, как бриллианты,  
На сердце вырезали след, –  
Очаровательные франты  
Минувших лет!

.....  
Три сотни побеждало – трое!  
Лишь мертвый не вставал с земли.  
Вы были дети и герои,  
Вы все могли.

Что так же трогательно-юно,  
Как ваша бешеная рать?  
Вас златокудрая Фортуна  
Вела, как мать.

Вы побеждали и любили  
Любовь и сабли острие,  
И весело переходили  
В небытие!



*Штабс-капитан Лейб-Гвардии Финляндского полка Я.А. Слащов, 1913 год*

Яков Александрович Слащов родился 12 декабря 1885 года в Петербурге, в Православной семье отставного офицера. Впрочем, на младшем Слащове военная линия семьи могла и пресечься, поскольку рано овдовевшая мать отдала Яшу не в кадетский корпус (куда, как сына полковника, его бы зачислили наверняка), а в реальное училище. Однако по его окончании молодой человек все же избирает военную стезю и 31 августа 1903 года зачисляется в Павловское военное училище. Не получившему кадетской закалки юнкеру Слащову на первых порах пришлось непросто: одно время стоял даже вопрос о самом его пребывании в училище, и лишь внимание офицеров и опекавших молодежь юнкеров-старшекурсников помогли ему не только удержаться, но и окончить училище старшим портупей-юнкером. Он вышел Лейб-Гвардии в Финляндский полк, где почти сразу попал в боевую обстановку: в 1905 году Финляндцы принимали участие в наведении порядка в столице, а в июле 1906-го – в подавлении матросского мятежа в Кронштадте.

Но зловещая атмосфера мятежа – провозвестника грядущего, еще более страшного братоубийства, – кажется, не оставила глубокого следа в душе подпоручика Слащова. Не забудем, что ему лишь недавно исполнилось двадцать лет, и если он чем-то и выделялся в это время на общем фоне своих однополчан, так тем, что, по рассказу одного из них, «редко участвовал в кутежах, водки не пил, а любил сладкое, принося с собой в офицерское собрание плитки шоколада. Товарищи добродушно над ним подтрунивали, называя красной девицей». Отслужив в строю положенные по закону три года, осенью 1908-го Слащов поступает в Академию Генерального Штаба<sup>58</sup>, оканчивает по 1-му разряду два ее курса, а 6 мая 1911 года – и дополнительный «успешно»... «но без права производства в следующий чин за окончание академии и на причисление к Генеральному Штабу». Причиной был недостаточно высокий средний балл, хотя сослуживцы Слащова впоследствии утверждали, что он сам, получив высшее военное образование, не пожелал уходить из родного полка. Как бы то ни было, несмотря на «непричисление», он прикомандировывается к Штабу Санкт-Петербургского военного округа, а затем в течение двух учебных лет преподает тактику в Пажеском корпусе, что говорит о сохраняющемся интересе к военной науке.

Надо полагать, что Слащову нравилась эта работа: он даже решил расстаться с мундиром Финляндского полка, 31 марта 1914 года переведясь на штатную должность младшего офицера Пажеского корпуса (до этого он числился прикомандированным). Постепенно идут чины, с апреля 1913-го он уже штабс-капитан, на груди появляется первый орден – Святого Станислава III-й степени, в последний предвоенный год Яков Александрович женится на дочери генерала В. А. Козлова Софии Владимировне... Но течение мирной жизни прерывается началом Великой войны, и штабс-капитан Слащов рвется на фронт.

Многие молодые офицеры очень боялись тогда не успеть на эту войну, подлинных масштабов и продолжительности которой не предвидело ни одно правительство, ни один Генеральный Штаб в Европе. Настойчивые ходатайства Слащова увенчиваются успехом, Высочайшим приказом 31 декабря 1914 года он вновь зачислен в Финляндский полк и уезжает на фронт, оставив молодую жену на последнем месяце беременности (дочь, названная Верой – может быть, в честь матери Якова Александровича, – появится на свет через неделю после его прибытия в полк). Первая рота Финляндцев, в честь Августейшего Шефа полка – Наследника Цесаревича Алексея Николаевича – именуемая



*Подпрапорщик Лейб-Гвардии Финляндского полка Савчук  
со знаменем полка, 1916 год*

«ротой Его Высочества», была принята штабс-капитаном Слащовым прямо на походе, 8 января 1915 года. На шесть лет для него началась, говоря стандартной формулировкой послужного списка, «бытность в походах и делах против неприятеля»...

\* \* \*

«Безгранично храбрый, но не храбростью самозабвения или слепую храбростью рядового, а сознательной храбростью начальника, Я[ков] А[лександрович] соединял с этим драгоценным качеством все таланты крупного военачальника: любовь к воинскому делу, прекрасное военное образование, твердый, решительный характер, поразительное умение схватывать обстановку и т. д. В своей скромной роли ротного, батальонного командира Я[ков] А[лександрович] положительно предугадывал ход военных событий; было ясно, что он владеет тайной военного искусства, что позволяет ему обычные способы суждения о событиях дополнять каким-то внутренним чутьем их», – такой, без преувеличения, восторженный панегирик вышел из-под пера командира Финляндского полка, генерала П. А. Клодта фон Юргенсбурга, и даже при беглом знакомстве с биографией Слащова эта характеристика представляется вполне заслуженной. Не надломили его духа и пять ранений, три контузии и отравление удушливым газом. «Скобелев говорил, – продолжает генерал Клодт, – что нет человека, который не боялся бы опасности, и что храбрость состоит в умении владеть собою и сохранять способность “смотреть” и “видеть”, “слушать” и “слышать”. Я[ков] А[лександрович] обладал этой способностью в такой превосходной степени, что по временам казалось, вопреки

мнению Скобелева, что он не понимает опасности. Думаю, что он ее отлично понимал, но при этом обладал несравненным даром самообладания».

Мужество Якова Александровича было отмечено восемью боевыми орденами, в том числе орденом Святого Георгия IV-й степени и Георгиевским Оружием, причем эти две самые почетные в Российской Императорской Армии награды были даны ему за бои, отделенные друг от друга всего одним днем, и за те же деяния («бои у д. д. Кулик и Верещин 19–22 июля и 22–23 июля 1915 года») он был удостоен ордена Святого Владимира IV-й степени с мечами и бантом. Такое сочетание выглядит если и не исключительным, то по крайней мере неординарным, и вполне соответствует выдающейся личности Якова Александровича, ставшего поистине живой легендой Лейб-Гвардии Финляндского полка.

«Ровно в час, назначенный для атаки, минута в минуту, он встает во весь свой рост, снимает фуражку, истово крестится и с обнаженной пашкой идет вперед, ведя роты на смерть или победу...» – таким запоминает его однополчанин. В бою Слащова прикрывают собою солдаты. Он упорно отклоняет неоднократные попытки перевести его из полка на штабную службу (как окончившего в свое время Академию). Выделяется Слащов и в минуты передышек, осмысливая боевой опыт и разрабатывая проекты, некоторые идеи которых генерал Клодт в конце 1930-х годов называл «пророческими». Назначенный, уже в чине полковника, 10 февраля 1917 года начальником Ударного отряда 2-й Гвардейской пехотной дивизии, формировавшегося в рамках подготовки к весеннему наступлению 1917 года, которое должно было сокрушить австро-германский фронт, – он готовит к этому своих подчиненных, положив в основу дух решительных и активных действий... Но – а в биографии Слащова, увы, слишком часто встречается это «но» – его замыслам не суждено было воплотиться.

За Февральским переворотом последовал стремительный развал Армии; Яков Александрович должен был возвратиться в ряды полка, а в июне был назначен командующим Лейб-Гвардии Московским полком, и это назначение, почетное и радостное во всякое другое время, сейчас стало тяжелым крестом. Фронтные офицеры бессильны были вернуть войскам боеспособность, коль скоро этого не хотело Временное Правительство, безвольно потакавшее «революционизированию Армии», а в конце августа пошедшее на прямую провокацию против Верховного Главнокомандующего генерала Л. Г. Корнилова.

На позиции 2-й Гвардейской пехотной дивизии известия о «корниловском мятеже» дошли 30 августа, когда офицеры-Финляндцы и приехавший к ним в гости Я. А. Слащов отмечали именины командующего полком полковника А. Н. фон Моллера. Они были застигнуты новым сообщением врасплох, и один из офицеров запомнил Слащова «тихонько повторяющим»: «Быть или не быть»...

На самом деле к этому моменту все было уже кончено. Известия на фронт запоздали: выступление генерала Корнилова закончилось неудачей. Быть может, История уже тогда сказала «не быть», но офицеры этого не знали, да, наверное, многие и не пожелали бы знать... И среди последних был Яков Александрович Слащов.

Для него война на «большом фронте» не только стала прекрасной школой его сурового ремесла, не только дала возможность доказать свою доблесть и готовность умереть за Веру, Царя и Отечество, – но и выявила в нем, помимо «профессиональных» талантов, особые качества военного вождя. «Слащов пользовался громадным престижем, пленял воображение своих подчиненных

и создавал ту “атмосферу героизма”, которая заражает других и рождает новых героев», – писал о нем генерал Клодт. И именно этих качеств потребовала от Якова Александровича новая, уже начинавшаяся война.

За несколько дней до Рождества 1917 года полковник Слащов прибыл в Новочеркасск.

\* \* \*

На последующую карьеру Якова Александровича в рядах Добровольческой Армии, вероятно, повлияло то, что он не получил назначения в формируемые строевые части. Руководители борьбы еще питали надежды на создание по России широкой сети организаций; особое внимание привлекал Северный Кавказ, пока не охваченный большевизмом, и туда был послан ряд эмиссаров, в том числе и полковник Слащов.

Но назначение это приходится признать явно ошибочным: в открытом бою, который уже вели офицерские батальоны, герой-Финляндец был бы гораздо более к месту. В курортных же городках и казачьих станицах его работа не имела успеха. Казачество оказалось инертным, уставшим от войны и подавленным наплывом агрессивных, нахрапистых и подстрекаемых революционными агитаторами «фронтовиков». Все попытки Слащова организовать восстания оканчивались неудачами.

Нам известна одна из таких попыток – события в Ессентуках 25 марта 1918 года. Офицерская организация разоружила местных красногвардейцев, но через день подошел «Пятигорский революционный отряд» с артиллерией, которой у восставших не было. Под грохот шести орудий Ессентуки капитулировали, признав Советскую власть, а небольшая группа не пожелавших покориться ушла с полковником Слащовым в горы.

Следовавшие за неудачами периоды были, конечно, самыми тяжелыми: «Приходилось скрываться и не входить ни в один дом», – рассказывает Яков Александрович. Лишь время от времени показывается он в крупных населенных пунктах, и в одно из таких появлений перед полковником неожиданно открываются новые перспективы.

Это произошло в последних числах апреля в Кисловодске, где Слащов лежал в лазарете – многочисленные старые раны могли не только потребовать настоящего лечения, но и стать хорошим предлогом для пребывания в курортном центре, переполненном офицерами. Из лазарета Слащов и был отконвоирован к Главнокомандующему Красной Армией Северного Кавказа А. И. Автономову, у которого уже находился и знакомый Слащову полковник А. Г. Шкура<sup>59</sup>.

Бывший хорунжий Автономов был решительным сторонником сопротивления германским войскам, появившимся на Дону и угрожавшим наступлением на Кубань. «Он заявил мне, что немцы стоят у границы Кавказа и что сейчас надо бросить всякие разногласия и защищать родину», – вспоминал Слащов, а его ближайший соратник М. В. Мезерницкий дополняет это свидетельство чрезвычайно важной деталью:

«[Автономов], теперь чувствуя непрочность своего положения и возрастающую мощь доброармии, хотел войти с ней в связь, приглашая для совместной работы Слащова, заведомо зная о его принадлежности к армии, с другой стороны, боясь нашествия немцев на Кавказ, хотел сформировать армию для его защиты и, не чувствуя, по собственному выражению, за собой способностей командарма, приглашал видных генералов и офицеров к себе на службу...

*Необходимым условием своей работы Слащов поставил соглашение с доброй армией. Автономов согласился<sup>60</sup>».*

Сразу же после достижения договоренности красный «главковерх» взял обоих офицеров с собою на митинг, состоявшийся в тех же Ессентуках, где Слащов наверняка был хорошо памятен населению. «Теперь не может быть ни красной, ни белой армии, а может быть только армия спасения родины», — провозглашал Автономов, однако его речь была встречена слушателями враждебно. Шкуро вспоминал:

«— Какое может быть у нас, казаков, к большевикам доверие, — сказал один из них, — когда они нас обезоруживают. В нашей станице понаехавшие красноармейцы поотымали даже кухонные ножи.

— Вы просите, чтобы мы выставили полки, — возражал другой, — а потом заведете наших детей невесть куда на погибель.

Вообще из выступлений казаков у меня создалось впечатление, что они совершенно не склонны доверяться большевистским зазываниям и даже приход немцев считают меньшим злом, чем владычество большевиков».

«Мне пришлось выступить и заявить, что все жалобы могут быть разрешены потом, а сейчас каждый русский должен идти в армию и защищать свою родину», — рассказывал Слащов, и можно не сомневаться, что его упреки казакам, независимо от соседства с советским Главнокомандующим, были вполне искренними: ведь чуть больше месяца назад та же самая толпа малодушно спасовала перед двумя сотнями красновардейцев, предоставив «нашим детям» (среди восставших было немало юнкеров и офицерской молодежи) отправляться в горы и скитаться там без крова и помощи; потом не менее доблестно разоружалась, послушно сдавая «даже кухонные ножи», и дожидалась прихода на свою голову Чрезвычайных Комиссий; а вот теперь, когда им возвращали отобранное оружие и предлагали легально собираться под началом Шкуро и Слащова, контрреволюционность которых была очевидным «шилом в мешке», — казаки вдруг начинали, почувствовав у красных слабину, проявлять «принципиальность». В дальнейшем агитацию и более подробное разъяснение подлинных планов взял на себя Шкуро, Слащов же по поручению Автономова составил «план обороны» Северного Кавказа.

«Слащов предлагал, — пишет советский историк, основываясь на воспоминаниях Якова Александровича, — сосредоточить войска к северу от Тихорецкой, в районе Кагальницкая, Куцевская, Уманская, с тылом на Царицын. Направления же Екатеринодарское и Минераловодское должны были, по плану Слащова, прикрываться партизанскими отрядами, которые организовал Шкуро».

Беглого взгляда на карту достаточно, чтобы понять, кому в действительности мог быть выгоден такой план. Один из опорных пунктов советской обороны, железнодорожный узел Тихорецкая, в соответствии с ним оставлялся, а вся Кубань передавалась под контроль казачьих отрядов, быстро достигших тысячи шашек и чуть ли не открыто кричавших, «что, мол, полковник Шкуро “нас гарнизовал, чтоб большевикам шеи свернуть; что у большевиков возьмем, то наше, и по тысяче карбованцев жалования обещал”». Войска же, сформированные ранее большевиками, собирались в угрожающей близости от восставших Донских казаков и оправившихся после весенних неудач Добровольцев, имея более чем сомнительные перспективы связи с Царицыном. И похоже, что эта стратегия была принята Автономовым: случайно ли красный Главнокомандующий настойчиво требовал вывода находившихся в тылу



войск – на «Батайский фронт», то есть практически в район, указанный Слащовым?

Более того, Автономов уже пошел на открытый конфликт с руководством «Кубано-Черноморской Советской Республики». Однако довести дело до конца у него не хватило духу, и он спасовал, не осмелившись опереться на организованных Шкуро и Слащовым офицеров и казаков. Главнокомандующий был обвинен в подготовке мятежа и уехал в Москву искать «справедливости», а план формирования «армии спасения родины» сорвался; теперь нужно было скрываться.

На «Волчьей поляне» недалеко от станицы Бекешевской собралась «Южная Кубанская Армия» полковника Шкуро, насчитывавшая семерых офицеров (один из них – Слащов), двух вахмистров и четырех урядников... Но все же и эти «силы» можно было считать зародышем будущего соединения, и, во всяком случае, сбор на Волчьей поляне знаменовал переход к долгожданной открытой борьбе.

\* \* \*

Июнь 1918 года становится апогеем восстания казаков Баталпашинского отдела Кубанской Области и Пятигорского – Терской. Смелыми партизанскими действиями повстанцы наводят панику на большевиков, «батько Шкура» кажется вездесущим, а его войско растет день ото дня. Впрочем, как писал впоследствии участник событий, «отрядами Шкуро фактически в первый период борьбы руководил его начальник штаба, Слащов... И все лихие бои и набег на большевиков в верховьях Кубани, на Лабее и Зеленчуке, поход на Невинномысскую и Ставрополь, всем известные под названием “повстанческих операций ген[ерала] Шкуро”, руководились полк[овником] Слащовым».

Это похоже на правду (из воспоминаний самого Шкуро тоже складывается впечатление, что его собственная роль была скорее организаторской и агитационной), с той лишь поправкой, что «полковника Слацова» в тот период на исторической сцене не было – был «полковник Яшин». Жена Якова Александровича, очевидно, вместе с трехлетней дочерью, оставалась в Кисловодске, а поскольку от правивших там комиссаров можно было ожидать чего угодно, Слащов предпочел сменить фамилию.

Не без гордости отмечал он впоследствии, что из всех эмиссаров генерала Алексева был «почти единственным, вернувшимся потом в добрармию со сравнительно крупным отрядом». Именно Слащов, «несмотря на противодействие Шкуро» (вспоминает Мезерницкий), настоял в последней декаде июня на соединении с главными силами белых. Появившись на подступах к Ставрополю, Шкуро отправил тамошним комиссарам телеграфное приказание очистить город, а сам отправился представляться Деникину, оставив «полковника Яшина» занимать Ставрополь. Перепуганные грозной телеграммой, большевики бежали, и во второй половине дня 7 июля 1918 года Яков Александрович на захваченном незадолго до этого у красных грузовом автомобиле въехал в столицу губернии.

Опомнившись, недавние хозяева Ставрополя сообразили, что занявшие его силы белых были вовсе не так уж велики, и начатое большевиками наступление сразу же поставило судьбу города под угрозу; спас подход подкреплений из Добровольческой Армии (с ними приехал и Шкуро), ибо в условиях стоянки в городе и оборонительных боев на его окраинах партизаны оказывались не слишком-то надежными. Ранее, когда Слащов просто не впу-

скал походную колонну в населенный пункт, пока не договаривался с местными властями о размещении и снабжении, казаки держались в рамках приличий; теперь же проявлялись худшие стороны партизанской натуры. Помимо обычных кутежей, они могли и разойтись с позиций, так что однажды Слащову пришлось, втроем с ординарцем и шофером, двумя пулеметами удерживать участок фронта, который бросила казачья сотня... Да и сам Шкуро, вкусив успеха, тоже становился другим, и раздраженный Слащов, скорее всего несправедливо, злился на своего командира: «Уже тут стали сказываться его грабительские инстинкты, и он был отстранен от командования отрядом, превращенным во 2-ю Кубанскую дивизию Улагая». Действительно, во второй декаде июля состоялось назначение начальником дивизии, в которую переформировывался отряд Шкуро, полковника С. Г. Улагая, а Яков Александрович вскоре вступил в командование вновь сформированной Кубанской пластунской бригадой.

Начался долгий период тяжелейших, изматывавших боев. Ставрополь пал под ударами большевиков, и Деникин стягивал к нему практически всю Добровольческую Армию. Стратегическое значение самого этого центра было ничтожно, но требовалось нанести решительное поражение живой силе противника, без чего положение белых на Кубани не могло почитаться прочным. К концу октября кольцо вокруг города замкнулось, причем бригада Слащова заняла позиции на западных подступах, рядом с 1-й конной дивизией генерала П. Н. Врангеля. «Он поразил меня тогда своей молодостью и свежестью», — вспоминал позднее о Якове Александровиче Врангель. С молодостью не вязалась только обильная ранняя седина в светло-русых волосах Слащова, о которой рассказывают другие очевидцы...

Полностью окруженные, справедливо оценивающие свое положение как критическое, большевики дрались изо всех сил. Утром 31 октября на северном участке они отбросили остатки растаявших в боях белых полков и прорвались на северо-восток, покидая Ставрополь, куда в середине дня 2 ноября вошла конница Врангеля. В то же время в Минераловодском районе все еще оставалась крупная группировка советских войск из состава XI-й и XII-й армий. Для борьбы с нею были собраны две конные дивизии, две пластунские бригады и несколько мелких отрядов, сведенные в 3-й армейский корпус генерала



В. П. Ляхова. В одном из боев, в конце ноября, полковник Слащов был ранен и уехал в тыл на излечение. Это был его первый отдых с октября 1917 года.

Екатеринодар, пирующий, спекулирующий и переполненный тыловым офицерством, в сравнении с оборванными, полуголодными и изнемогающими в непрерывных боях фронтовыми частями производил отталкивающее впечатление. «У Слащова в вагоне (он еще лечился после ранения и жил в вагоне из-за отсутствия квартир в городе) шли речи, что скоро, кажется, придется устроить еще одну революцию и вырезать всех тех, кого так легкомысленно не дорезали большевики, – вспоминал Мезерницкий, в декабре 1918-го тоже выбравшийся в отпуск. – За два года люди ничему не научились, но и ничего не позабыли».

С мыслью «покончим прежде на фронте, а потом разберемся в тылу», возвращались Слащов и его молодой подчиненный в бригаду. Вскоре во время атаки Яков Александрович был вновь ранен – теперь пулей в ступню правой ноги, и эта рана еще долго причиняла ему немало страданий. Непокойно было и на сердце: назначенный Главнначальствующим и командующим войсками Терско-Дагестанского Края (эта новая структура заменила прежний 3-й корпус) генерал Ляхов был человеком крутого нрава, предпочитавшим жесткие репрессивные меры даже в тех случаях, когда, по мнению фронтовых начальников, их можно было бы избежать. Не ужившись с Ляховым, Яков Александрович попросил о переводе, и после краткого отпуска, проведенного в Кисловодске с семьей, приказом Главнокомандующего от 18 февраля был назначен командиром бригады 5-й дивизии, сформированной в Северной Таврии. Отныне вся его боевая биография будет связана с Новороссией и Крымом, где он и заработает свой почетный титул «Крымского».

\* \* \*

5-й дивизии фактически еще не существовало: «В частях пехоты... еще до начала неудачных боев в некоторых ротах было по 11–18 штыков», – писал ее начальник Штаба, и при такой картине вряд ли покажется удивительным, что неудачи не заставили себя долго ждать. Хотя по другую сторону фронта и были в основном повстанческие отряды, порой пренебрежительно относимые к разряду «банд», – на деле они, мобильные, неплохо вооруженные и численно превосходившие белых, оказывались весьма неприятным противником. По сравнению с Северным Кавказом положение в Таврии выглядело гораздо более тяжелым.

Но вряд ли Слащов представлял себе обстановку к моменту своего приезда в Крым. Интересно отметить, что появление нового лица – никому не знакомого высокого, русоволосого молодого офицера в черкеске<sup>61</sup> – вызвало совершенно фантастические слухи, и Осведомительное бюро Штаба Крымско-Азовской Добровольческой Армии не поколебалось оповестить о... прибытии на полуостров Великого Князя Михаила Александровича (брата последнего Государя), к тому времени уже более полугодом убитого большевиками. Этот слух так до конца и не развеется, и даже летом 1920-го все еще будет порождать расспросы, «правда ли, что генерал Слащов – это Великий Князь Михаил Александрович, только до поры, до времени он не хочет себя объявлять?»

В смутные времена нередко ищут чуда, и, наверное, в самом деле только чудо могло спасти тогда Таврию и Крым. Фронта как такового не существовало, противники нередко наносили удары вслепую, и в этих условиях военные знания и опыт офицеров теряли свою силу перед многочисленностью

врага, дерущегося более бестолково, но не менее ожесточенно; в довершение всего командование Крымско-Азовской Армии фактически выпустило из рук управление войсками, и во второй половине февраля события приобретают необратимый характер. Армия разваливается, и к 10 марта полковник Слащов отводит правый фланг таврической группировки за жидкие проводочные заграждения на Сальковском полуострове, отразив попытку красных ворваться в Крым на плечах отступающих. 15 марта он отходит на рубеж Чангарского железнодорожного моста через Сиваш, а 23-го мы уже видим его на подступах к Перекопу, куда на усиление атакованного превосходящими силами большевиков участка были под командой Якова Александровича брошены сборные части, немногочисленные, неустойчивые и представлявшие сомнительную боевую ценность. Тем не менее 24 марта на Перекопском перешейке Слащов нанес сильный удар противнику и приостановил его наступление, но ненадолго: уже 26-го командование Армии решило отступить к Керчи, и войска со всех направлений начали спешный отход на Ак-Манай, хотя надежда уцепиться за последний клочок земли под Керчью и была невелика.

Однако уцепиться все-таки удалось, и к концу первой декады апреля белые остановили противника на импровизированной Ак-Манайской позиции. В то же время среди командного состава царила неуверенность, — иные готовы были, как писал впоследствии Яков Александрович, «приговорить к сдаче» Ак-Манай, а с ним и весь Крым. Но приговор оказался явно преждевременным: на рассвете 14 апреля была даже сделана попытка контрнаступления, не достигшая, впрочем, больших результатов. В атаке получил тяжелое ранение начальник 5-й дивизии генерал Н. Н. Шиллинг, и во временное командование дивизией вступил полковник Слащов.

К началу мая на Ак-Манай у белых оставалось около 3300 штыков и шапек против более чем 9000 у большевиков. Разница в живой силе, правда, до некоторой степени компенсировалась превосходством Добровольцев в пулеметах и орудиях, а также тем, что почти полуторамесячную передышку они использовали для реорганизации и укрепления своих войск. 5-ю дивизию пришлось просто расформировать, и в составе 3-го армейского корпуса (нового формирования), в который была сведена Крымско-Азовская Армия, остались Отдельная кавалерийская бригада и 4-я дивизия. Начальником дивизии был назначен генерал С. К. Добророльский, но поскольку Шиллинг, назначавшийся на должность командира корпуса, еще не оправился от ранения, — Добророльскому пришлось исполнять его обязанности; дивизию принял Слащов, формально считавшийся в ней командиром бригады. 14 мая приказом Главнокомандующего он был произведен в генерал-майоры. Ему было тогда тридцать три года.

Молодой генерал неплохо подготовил вверенные ему войска к наступлению, которое началось на рассвете 5 июня. Его пехота взломала оборону противника, а правее, вдоль берега Сиваша, пошла в атаку кавалерия, после прорыва начавшая растекаться по ближним тылам красных. Эффект таких диверсий хорошо понимал и Слащов, сочетавший фронтальную атаку со смелой десантной операцией у местечка Коктебель, которая вызвала паническую эвакуацию большевиков. По собственным признаниям последних, они даже не успели оставить в городах Крыма своей подпольной сети, хотя этот род деятельности, в котором революционеры всегда достигали гораздо больших успехов, чем в открытом бою, был для них крайне важным.

За 23 дня белые освободили всю Таврическую губернию и вышли на рубеж Днепра. «Победоносное шествие от Ак-Маная через Перекоп на Бериславль», как назвал его в одном из приказов Яков Александрович, завершилось 27 июня атакой города Алешки и местечка Голая Пристань. 4 июля Деникин телеграммой благодарил Слащова и командира одного из полков генерала Г. Б. Андгуладзе «за их лихие действия под Алешками и Голой пристанью», а слащовская артиллерия тем временем уже всю была через реку по вокзалу и пристани Херсона. 2 июля Слащов даже предпринял налет на «тот берег» – небольшой отряд переправился через Днепр на пароходе и, высадившись, с боем прошел, производя большую панику среди красных, до железнодорожного вокзала. Насладившись произведенным эффектом, десант благополучно возвратился.

Однако остаток столь бурно начавшегося июля прошел в относительном бездействии. В соответствии с принятой 20 июня «Московской Директивой» Деникина корпус Добророльского остановился на рубеже Днепра, имея задачей лишь обеспечение левого фланга центральной группировки, рвущейся на Москву. Почти вся кавалерия была взята из состава корпуса, и он вообще перестал существовать как войсковое соединение – в нем оставались лишь 4-я дивизия (три полка и конвойный дивизион, которым командовал Мезерницкий) и два конных полка.

Оказалось, однако, что Днепр оборонительным рубежом быть не может. В условиях Гражданской войны, при малой плотности войск, в выигрышном положении нередко оказывался тот, кто форсировал реку, сам выбирая место нанесения удара, в то время как оборонявшийся, вынужденный охранять участки значительной протяженности, не имея для этого достаточных сил, неизменно терпел урон. Единственным выходом становилось... дальнейшее наступление, – причем, если осторожный Добророльский будущие операции на Правобережье предпочитал переложить на соседей, то Штаб Главнокомандующего считал, что развитие наступления можно доверить 4-й дивизии, и оказался прав.

12 июля Добророльскому было приказано «обратиться к исполнению своих прямых служебных обязанностей» начальника дивизии, 20-го выздоровевший Шиллинг вступил в командование корпусом, а 29-го в штаб 4-й дивизии полетела телеграмма, предписывавшая перенести боевые действия за Днепр. Сторонник пассивного выжидания Добророльский был назначен «в распоряжение Главнокомандующего», а начальником 4-й дивизии уже и формально стал генерал Слащов (да вряд ли он и сдавал командование Добророльскому во второй половине июля). Не прошло и недели, как Яков Александрович вновь доказал, что с войсками и на острие наступления он был как раз на своем месте.

Уже 1 августа пал Херсон, а к 5-му два полка во главе с самим Слащовым подошли к Николаеву, где сосредоточилась крупная группировка большевиков. Слащов, с 3 августа не имея связи со Штабом корпуса и действуя исключительно на свой страх и риск, сумел организовать взаимодействие всех имевшихся в его распоряжении родов оружия – пехоты, своего конного конвоя, бронепоезда и прошедших в Днепровско-Бугский лиман кораблей Черноморского Флота, – и Николаев пал; Яков Александрович, лично возглавивший атаку, «во главе конвоя галопом ворвался в город» (рассказывает Мезерницкий). Красные, бросая обозы, эшелоны и бронепоезда – единственная железнодорожная ветка, по которой они могли отойти, была разрушена крестьянами

ми-повстанцами, – бежали на запад. Во время этого движения большевицкие войска понесли значительные потери дезертирами, с «причиной» чего вскоре довелось познакомиться и Слащову.

\* \* \*

Со второй недели августа в поле зрения командования 3-го корпуса попадает «Революционно-Повстанческая Армия Украины (Махновцев)» – бывшая советская дивизия, разбитая в мае на Таганрогском направлении, преданная своими союзниками-большевиками и отступившая за Днепр. В ее стремительном отступлении, в сущности не имевшем конкретной цели, отсеивался случайный и нестойкий элемент и вокруг Н. И. Махно сплачивалось ядро отборных бойцов, уже не знающих иного ремесла, кроме войны, преданных своему вождю больше, чем любой партийной программе, и привлекавших к себе из состава Красной Армии тех, кто хотел не убегать на север, к Киеву, а драться против наступавших белогвардейцев. Слащов быстро оценил их боевые качества: «у противника при вообще превосходящих меня силах еще имеется крупная, энергичная и очень деятельная конница»; «элемент в боевом отношении отличный, – конница, так просто вызывает восхищение»; «огромное количество артиллерии и пулеметов, артиллерийским огнем они часто просто забивают, деморализуя, наши части», – и с этим-то врагом теперь приходилось иметь дело. Для борьбы с махновцами Слащову были подчинены конная бригада генерала Н. В. Склярова и отряд генерала П. С. Оссовского, и в упорных боях 23–26 августа под деревней Ново-Украинка Повстанческой Армии был нанесен ряд жестоких ударов. Махновцам пришлось продолжать движение на запад, в общем направлении на Умань, где уже появился новый противник белых.

Это были Объединенные Украинские Армии (Галицийская и Армия Украинской Народной Республики), возглавляемые «Главным Отаманом» (Главнокомандующим) С. В. Петлюрой. Сторонники отделения от России, готовые лучше пойти на сотрудничество с большевиками, чем с русской Белой Армией, петлюровцы уже спровоцировали вооруженный конфликт в Киеве, куда 17 августа их войска вступили одновременно с белым авангардом (командир Запорожского корпуса «генерал-хорунжий» В. П. Сальский – в недавнем прошлом полковник русской армии – демонстративно проехал по русскому национальному флагу, брошенному современными «запорожцами» под копыта его коня). В конце августа генерал Слащов предупредил командование: «Петлюра разбрасывает явно враждебные нам прокламации», а 1 сентября, получив ультиматум одного из украинских командиров, который требовал отступить перед его войсками, – направил начальнику Штаба войск Новороссийской Области<sup>62</sup>, генералу В. В. Чернавину, телеграмму, как нельзя лучше характеризующую и ее автора, и обстановку:

«Дорогой Виктор Васильевич, горячо любя Николая Николаевича (Шиллинга. – А. К.) и тебя, не могу удовлетвориться номер[ом] 23281<sup>63</sup>. Разбери его сам, и ты скажешь то же самое. Я вошел в соприкосновение с Петлюрой на фронте Умань – Любашевка, он требует очищения территории вплоть до Ольвиополя – я разбил Махно и гоню его на северо-запад между известными тебе железными дорогами. Если я уйду за ним, я открою фронт Петлюре. Все это я донес в № 750, подробно разбери это с Командвойском и учти обстановку. Я сделаю все, что в моих силах, и если удастся предлага[ема] мною группировка ([см. №] 750), разнесу Петлюру вдребезги, но мне все же нужна поддержка



Штаба войск – ведь не могу же я идти против вашего приказа. Обстановка диктует: бросить Махно на пятую дивизию (имеется в виду отряд Оссовского, формально считавшегося начальником вновь сформированной 5-й дивизии. – А. К.) и раздавить Петлюру. Жду сегодня же ответа и не шифрованного, потому что шифры путают. Провожу в группировке войск идею, доложенную в № 750. Жду срочного ответа. 1 сентября. № 048. *Слацов*».

В этой телеграмме – и энергия молодого военачальника, и его азарт, и недоверие к вышестоящему штабу... и еще одна весьма интересная черта, которую обычно забывают, когда говорят о Якове Александровиче.

Зная цену самому себе и своим решениям, готовый отстаивать их весьма экспрессивно, порою на грани скандала, и, должно быть, именно поэтому заработав репутацию человека своевольного и взбалмошного, – генерал Слацов в то же время прекрасно понимал необходимость дисциплины и безусловного послушания. Стремясь убедить начальство в своей правоте, взывая, умоляя, заклиная, он всегда взывает именно об изменении распоряжений «сверху», подсказывая старшим по должности, *какой* приказ он считает наилучшим в данных условиях, но при этом отдает себе отчет, что выполнять будет *тот* приказ, который окажется окончательным. В будущем мы еще увидим, как он умеет повиноваться вопреки собственному мнению, пока же молодому генералу удалось переубедить Штаб войск Новороссии и получить свободу действий. Теперь ему предстояло доказывать свои полководческие таланты на деле.

Собственно говоря, полководцем с Белой стороны в Новороссии и оказывался один Слацов. Несмотря на молодость и не самую высокую должность, авторитет генерала был достаточно высок, чтобы под его началом объединились почти все находившиеся здесь войсковые части. Но и вся ответственность за операции тоже ложилась на плечи Слацова.

А ответственность была немалой. Общая численность подчиненных Якову Александровичу войск не превышала 8–9 тысяч штыков и сабель, в то время как Повстанческая Армия, по различным оценкам, насчитывала от 8 до 15 тысяч – точное число, очевидно, было неизвестно даже ее командованию, – количественный же и качественный состав петлюровцев еще не был выяснен. Неравенство сил не стало помехой для Слацова: 5 сентября он начал операцию против Петлюры и в течение недели нанес поражение противостоящей группировке (численностью от 6 до 8 тысяч). Но за это время несколько оправился Махно, заключивший с Армией УНР перемирие, получивший от нового соратника боеприпасы и передавший на его попечение большой обоз с ранеными.



*Слащовская пехота окопывается под Елисаветградом, 1919 год*

После нанесения петлюровцам первых сильных ударов Яков Александрович незамедлительно приступил к подготовке окончательного разгрома Махно. Настояв перед командованием на сохранении единства управления войсками («...Вся операция должна быть объединена в одних руках, – подчинюсь кому угодно, лишь бы командовало бы лицо, знакомое с обстановкой и состоявшее здесь, – иначе весь успех и красота пропадет... Прошу меня понять и поверить, что я хлопочу не из-за личных целей, для чего прошу назначить для общего командования стороннее лицо, но для пользы дела настаиваю на общем командовании...»), он обрушил на противника новые мощные удары. 14 сентября, бросив на произвол судьбы своих раненых и тысячу штыков за-слона, Махно с отборными частями, Штабом и Реввоенсоветом отчаянным усилием прорвался в восточном направлении и обратился в бегство.

До сих пор в исторической литературе бытует повторяемая вслед за анархистскими апологетами «батьки» легенда о «рейде, сокрушившем тылы Деникина». Однако тогда, в первую неделю после прорыва, речь шла не о каком-либо целенаправленном движении, а именно о бегстве, в ходе которого махновцы бросали не только орудия, повозки и походные кухни, но даже винтовки, и в своем паническом стремлении за Днепр неспособны были вступить в самые незначительные столкновения со слабыми белогвардейскими заслонами.

Увы, командование войск Новороссийской Области не смогло использовать момента и добить раненого, но все еще опасного врага. В погоню направили сборный отряд незначительной численности, а роль заслона на Днепре была поручена только что сформированным ненадежным частям. В результате, проявив незаурядную волю и тактическое чутье, Махно сумел мобилизовать наиболее боеспособные элементы своей Армии и перешел Днепр. Слащову же было приказано продолжать операции против Петлюры.



Строго говоря, угроза с этой стороны и в самом деле еще не была ликвидирована. Силы были неравны: украинские войска превосходили белых в 4–5 раз, несмотря даже на свирепствовавшую среди петлюровцев эпидемию тифа. Тиф, впрочем, не признает политических различий – маневрировавшие, наступавшие и отступавшие, обходившие друг друга противники, останавливаясь в одних и тех же деревнях и ночуя в одних и тех же хатах, находились в совершенно одинаковых условиях, и поэтому обычные для украинских мемуаристов и историков жалобы на косившую петлюровцев эпидемию выглядят скорее попытками переложить на внешние обстоятельства вину войск, не сумевших выиграть кампании.

Слащов планировал ударом в направлении города Гайсин прорвать петлюровский фронт на стыке Армии УНР и Галичан. Но не все планы легко реализуются, и «Гайсинская операция» началась встречным боем – одним из самых трудных видов военных действий, требующим от полководцев крепости нервов, хладнокровия, быстроты решения и железной воли при претворении его в жизнь. На левом фланге белых бригада генерала Андгуладзе, несмотря на отвагу и решимость ее командира, была отброшена, и украинские войска угрожали выходом во фланг наступающей от Умани группировке. «Положение Уманской группы стало почти безнадежным; только медленность действий петлюровцев, шедших неуверенно и с опаской, все еще не веря в свой успех, спасала ее пока, – вынужден был признать впоследствии Слащов. – Об общем отступлении группы нечего было и думать, – вырвать обойденные войска из боя, не потеряв большую их часть, было невозможно». А поскольку на «Уманской группе» держался весь фронт Новороссии, ее неудача могла перерасти в общую катастрофу. Пожалуй, это был первый случай, когда от полководческого дарования и счастья генерала Слащова зависело так много...

«Следовательно<sup>64</sup>, – делает вывод генерал, – вся обстановка сложилась так, что надо было наступать в главном направлении и победить во что бы то ни стало». На первый взгляд такое решение отдает авантюрой, но оно оказалось полностью оправданным, поскольку против слащовских войск были к тому моменту сосредоточены едва ли не все боеспособные украинские дивизии. Таким образом, «наступать в главном направлении» означало – наносить удар по основному скоплению живой силы петлюровцев и в случае успеха практически *уничтожить* Армию УНР как войсковое соединение.

Так и произошло. Прорыв и развитие успеха в одно мгновение коренным образом изменили обстановку: как будто был вынут стержень, скрепляющий войска противника; «в тылу петлюровцев стояла полная паника; отдельные части сдавались разездам, обозы рассыпались в разные стороны...» – рассказывал Слащов. Катастрофа подействовала и на командование Галичан: оно обратилось с просьбой о перемирии, и 24 октября было заключено предварительное соглашение о переходе Галицийской Армии на сторону Деникина. «Благодарю Вас, Генерала Слащова и всех Начальников, – телеграфировал Шиллингу Главнокомандующий 28 октября, – за блестяще проведенную операцию, давшую нам победу над превосходным в числе противником и приведшую к столь благоприятному разрешению вопроса борьбы с галичанами».

«На фоне общей дружной работы и подвигов целых частей и всей Армии выделяется несравненная храбрость, талантливое руководство войсками и умение вдохнуть в них победный дух Командующего группой Генерал-Маиора Слащова, которого прошу принять мою сердечную благодарность», – писал



12 ноября в приказе по войскам Области генерал Шиллинг, а тем временем генерал Слащов и его полки уже перебрасывались на новый участок.

Это был вновь образовавшийся «внутренний фронт». Оправившийся от уманского поражения и окрепший на Левобережье Махно поднял в белом тылу переполох, который побудил генерала Деникина направить на борьбу с Повстанческой Армией не только войска, находившиеся в тыловом районе или снятые со второстепенных участков, но и сражавшиеся на главном, противобольшевицком фронте. Уже в конце первой декады октября они нанесли махновцам несколько сильных ударов и в середине месяца вновь погнали противника к Днепру. Прорвавшись за реку, Махно захватил Екатеринослав, что Слащов впоследствии считал роковым для «батьки» решением. А генерал мог рассуждать о «махновской кампании» конца 1919 года отнюдь не понаслышке, ибо именно ему Главное Командование поручило ведение операций против «старого знакомого».

Выполнение задачи, однако, осложнялось тем, что недавно выведенная из боев 4-я пехотная дивизия как раз в это время разворачивалась в корпус, который вновь получил наименование 3-го армейского (третьего формирования). Самого Якова Александровича, впрочем, в командиры корпуса как будто никто не прочил, и лишь необходимость ликвидации махновщины повлекла фактическое предоставление молодому генералу прав комкора и даже больших.

Тщательно подготовив операцию, во второй половине ноября Слащов приступил к активным действиям против замкнувшегося в екатеринославском районе Махно, и судьба Екатеринослава и Повстанческой Армии решилась в течение десяти дней. Утром 25 ноября белые ворвались в город; отчаянная попытка анархистского вожака вернуть свою «столицу» была отбита, причем пример выдающегося героизма показал сам Слащов, с 70 казаками и гусарами своего конвоя в течение нескольких часов лично сдерживавший натиск ударной группировки противника (атакующим «все время приходилось подтягивать орудия, чтобы выкурить отдельные группы из каменных домов»). Последующими ударами генерал неуклонно отжимал бегущих махновцев в излучину Днепра, дезертирство в Повстанческой Армии ширилось, кампания была проиграна ею начисто, и Слащову отнюдь не было нужды, как рассказывали много позже досужие сочинители, говорить: «Моя мечта – стать вторым Махно». Для этого он слишком успешно бил «первого Махно», войска которого спасла тогда от полного уничтожения только общая стратегическая обстановка на «большом фронте». Отступление потерпевшей поражение под Орлом ударной группировки Вооруженных Сил Юга России повлекло за собою приказ Слащову переправляться за Днепр и прикрыть Северную Таврию.

Казалось, Крым в январе 1920 года был снова, как и весной 1919-го, обречен на сдачу, – слишком мало сил было у Якова Александровича, а параллельно берегу Азовского моря, наперерез отступавшим, уже двинулась 8-я кавалерийская дивизия «Червоного Казачества» под командованием В. М. Примакова – одного из известнейших советских военачальников. Первый бой предстояло дать в Северной Таврии, хотя Слащов и предпочел бы обойтись без этого, сразу уйдя за перешейки.

Впрочем, для «Червонцев» хватило даже не боя, а фактически только демонстрации. Под прикрытием огня бронепоездов Слащов развернул в лаву триста конников, которые атаковали головные части Примакова и... остановили их, как выяснилось, на всю зиму. Решиться же судьба Крыма должна была на Перекопе, и здесь же предстояло держать экзамен тактике, избранной на зимнюю кампанию генералом Слащовым.

Он отнюдь не склонен был идеализировать своих солдат. С теми войсками, какие были в его распоряжении, Яков Александрович «совершенно не признавал» даже «сиденья в окопах», объясняя на военном совете в Севастополе: «На это способны только очень хорошо выученные войска, мы не выучены, мы слабы и потому можем действовать только наступлением». Таким образом, по самой постановке задачи Слащову предстояло оборонять Крым... наступая.

Он не стал подтягивать войска к Турецкому Валу и городу Перекопу, расположив их значительно южнее, где полки можно было разместить на постой в крестьянских хатах; противнику же, пытающемуся проникнуть на полуостров, предстояло идти в течение целого дня по открытому, продуваемому всеми ветрами Перекопскому перешейку, не имея возможности остановиться и обогреться, – а на входе в Крым, перед юшуньскими позициями, которые и стали его подлинными «воротами», большевиков встречали относительно свежие белые части.

В первом же бою такой оперативный замысел полностью оправдал себя. Бой, впрочем, оказался нелегким, и пришлось бросить в штыковую юнкерский батальон Константиновского военного училища, приберегавшийся Слащовым в качестве его личного резерва, а теперь понесший значительные потери. Убитого командира роты нашли «с застывшей правой рукой, занесенной ко лбу для крестного знаменья», и, казалось, этим крестом не в меньшей степени, чем штыками юнкеров, было совершено чудо: большевики обратились вспять. Еще несколько раз они будут переходить в наступление и... неизменно терпеть неудачи. Судьба Крыма висела на волоске, то и дело фронт трещал, но войска каждый раз с честью справлялись с тяжелой задачей, и всем было ясно, какую неопределимую роль играл в этом возглавлявший оборону генерал.

Превосходно понимая эффект своего появления в конной атаке или пехотных цепях, Яков Александрович стремился воздействовать на воображение солдат, представая перед ними в ореоле какого-то сказочного героя. Этому способствовала и необычная, выдуманная самим генералом форма: опущенная черным мехом короткая белая куртка, меховая же шапка, летящая за плечами белая бурка; в боях генерала сопровождала влюбленная в него сестра милосердия Нина Нечволодова, в мужской одежде и под именем «юнкера Никиты Нечволодова» служившая в Штабе корпуса ординарцем<sup>65</sup>... Кроме ордена Святого Георгия, на своей куртке Слащов всегда носил академический нагрудный знак и знаки родного Финляндского полка и Московского, кото-



*Командир Крымского корпуса генерал-лейтенант Я.А. Слащов с будущей женой Н.Н. Нечволодовой. Слева от Слащова – начальник Штаба корпуса генерал-лейтенант Г.А. Дубяго, весна 1920 года*

рым в свое время командовал, – причем Финляндский крест с девизом «За Веру, Царя и Отечество» в нарушение существовавших правил был привинчен на одном уровне с «Георгием». Блистательным видением, подобно Суворову или Скобелеву, проносился перед полками этот поистине «Белый» генерал, и полки шли за ним в огонь и совершали под его командою чудеса. А он после очередных боев благодарил войска – тоже «не по уставу»:

«Спасибо, братья, за то, что вы спасаете Россию...»<sup>66</sup>

От меня земной поклон. Больше благодарить не умею...»

Но в тыл летели от Слащова телеграммы совсем другого тона и содержания. «...Передай, что вся тыловая сволочь может слезать с чемоданов», – раздраженно бросает он после победного боя своему адъютанту. «Тыловая сволочь», «тыловая слякоть», «паразиты морального сыпняка» – все это подлинные слова из приказов и телеграмм генерала, свое пребывание на полуострове начавшего с громогласного объявления:

*«На фронте льется кровь борцов за Русь Святую, а в тылу происходит вакханалия. Лица же офицерского звания пьяными скандалами позорят имя добровольцев, в особенности отличаются чины дезертировавших с фронта частей. Все это подрывает веру в спасение Родины и наш престиж. Вдобавок спекуляция охватила все слои общества. Между тем, забывшие свою честь видимо забыли и то, что наступил серьезный момент и накатился девятый вал. Борьба идет на жизнь и на смерть России.*

*Согласно приказа, я обязан удерживать Крым и для этого облечен соответствующей властью и располагаю достаточными силами, но для поддержки фронта мне необходимо оздоровление тыла. Я прошу граждан помочь мне. Общественные организации и классовые комитеты, любящие Родину, придите совместной работой поддержать меня. Об этом я прошу всех, не потерявших совесть и не забывших своего долга, а остальным заявляю, что буду продолжать борьбу не один<sup>67</sup>, так как бессознательность и своекорыстность жителей меня не остановит. Не останавлиюсь и перед крайними мерами...*

*...Повторно разъясняю, что мне ген[ералом] Шиллингом приказано удерживать Крым и что я это выполняю во что бы то ни стало и не только попрошу, а заставлю всех помочь. Мешающих же этому сопротивлением и индифферентностью из-за корыстных целей, наносящих вред борцам за Русь Святую, говорю заранее: упомянутая бессознательность и преступный эгоизм к добру не поведут. Пока берегитесь, а не послушаетесь – не упрекайте за преждевременную смерть».*

Подобные грозные приказы накрепко связали с именем генерала ярлык «вешателя». На самом деле по подтвержденным Яковом Александровичем приговорам за крымский период его деятельности было казнено немногим более тридцати человек, а свидетельств о тайных или бессудных расправах, которые приписывала генералу молва, не смогло впоследствии разыскать даже отнюдь не благоволившее к Слащову следствие. Казненные же, за небольшим исключением, проходят двумя группами: по «делу офицеров отряда капитана Орлова» (взбунтовавшегося под туманным лозунгом «оздоровления тыла», после суровых телеграмм Слащова подчинившегося ему, но затем вновь изменившего; офицеры разгромленного отряда были расстреляны) и «делу четырнадцати». Последнее стало одним из самых громких событий в жизни Крыма весной 1920 года. Причина этого крылась в несомненном нарушении судебной процедуры, что было, однако, вызвано обстоятельствами, не предусмотренными никаким судебным уставом.

Четырнадцать красных подпольщиков были схвачены с поличным при подготовке вооруженного восстания, которое неизбежно повлекло бы кровопролитие и значительные человеческие жертвы. Вина была очевидна, – но остававшиеся на свободе сообщники подсудимых в подметных письмах всем, от кого зависел будущий приговор, пригрозили им смертью в случае, если он окажется суровым. Испугавшиеся судьи оказались, конечно, снисходительными к изобличенным заговорщикам, но одновременно обратились за помощью к Слащову.

Генерал откликнулся на «слезное моление», явился с юнкерами в севастьяпольскую тюрьму, где содержались арестованные, вывез их в свой штаб и в ночь на 12 марта предал повторному военно-полевому суду из фронтовиков, угроз не боявшихся и приговоривших подпольщиков к смертной казни; немедленно все четырнадцать были расстреляны. Разумеется, перед лицом большевицкого шантажа Яков Александрович чувствовал себя совершенно правым, а сам заговор не без оснований рассматривал как единое целое с очередной попыткой наступления красных на Перекопе: «Я беспокоился о судьбе Крыма... и потому одновременно разбил противника и утвердил приговор о расстреле предателей». Таким образом, все суровые приговоры, утвержденные «кровавым Слащовым», вполне отвечали военной обстановке, когда кара вообще ужесточается, а судебная процедура – упрощается.

Что же касается «темных дел» крымской контрразведки, то она подчинялась Слащову весьма относительно. Собственно говоря, это было вообще не войсковое учреждение, а отделение уголовного розыска, лишь в условиях военного времени привлеченное к сотрудничеству с армией (чем Яков Александрович тяготился, стремясь организовать свою корпусную контрразведку) и к политическому сыску, первым же объектом которого стал... сам командир корпуса.

«Что мне ваш Слащов, я сам назначен за ним следить и сумею его скрутить», – кричал, подвыпив, начальник отделения, губернский секретарь Л. А. Шаров, и эта слежка была еще самым невинным в его деятельности. Так, он предлагал офицерам слащовского Штаба купить у него кольцо, которое, как вскоре выяснилось, принадлежало одному из расстрелянных, и Яков Александрович саркастически писал впоследствии, что нашлось бы немало «друзей», порадовавшихся, «если бы это кольцо оказалось у меня или у кого-нибудь из моих приближенных, но этой радости не суждено было осуществиться».

Недоброжелателей у генерала и в самом деле хватало. Оказавшись старшим военачальником на полуострове, он невольно сосредоточил в своих руках слишком большую власть, хотя и старался не вмешиваться в тыловые дела и оставлял за собой роль некоего верховного арбитра, чье участие требуется лишь при исключительных обстоятельствах, когда гражданская власть оказывается неспособной решить возникающие проблемы. Заслужил Слащов и репутацию человека, при котором «было совершенно немыслимо какое-либо “окружение”, влияющее на ход дела». Но все это вызывало неприязнь тех, кто в условиях фронтовых неудач и общего кризиса деникинской власти хотел бы прибрать к рукам полуостров. Влиятельная политическая группировка настойчиво выдвигала на первые роли барона Врангеля, и распространение клеветнических, порочащих слухов о Слащове можно отчасти отнести на счет завистников и интриганов из своего же, Белого лагеря. А отношение к борьбе за власть самого Якова Александровича не замедлило проявиться после эвакуации остатков Вооруженных Сил Юга России с Северного Кавказа в Крым, на военном совете, созванном для избрания преемника Деникину.

\* \* \*

«У нас нет выборного начала, – негодовал Яков Александрович. – Мы не большевики, это не Совет солдатских депутатов. Пусть генерал Деникин сам назначит, кого он хочет, но нам выбирать непригоже...» В то же время и совершенно уклониться от решения судьбы Белого движения Слащов не мог. Бросив заседание, он уехал на фронт, но перед этим в кулуарной беседе дал понять, что не станет возражать против назначения Деникиным генерала П. Н. Врангеля. Надо заметить, что, пожелай Слащов претендовать на первую роль сам, у него также нашлись бы сторонники. Однако генерал не стремился к власти, и Главнокомандующим стал барон Врангель.

Врангелю не нравилось в Слащове многое, начиная с чрезмерной эмоциональности и пышного костюма, – но больше всего, конечно, раздражала настойчивость, с которой Яков Александрович стремился убедить его в правильности и неотложности тех или иных предлагаемых мер. Главнокомандующий скептически относился к большинству слащовских ходатайств и рекомендаций, считая их причудами взбалмошного и неуравновешенного челове-



*Части Русской армии в Крыму*

ка, однако в военных талантах отказать генералу было невозможно, и для проведения крупной войсковой операции в начале марта под начало Якова Александровича, произведенного в чин генерал-лейтенанта, Врангель свел практически все имевшиеся в наличии боеспособные силы. Именно тогда, во время шестидневного боя на перешейках, произошел самый красивый, легендарный и даже неправдоподобный эпизод биографии Слащова.

Это было 2 апреля на Чангарском мосту. Переправившиеся через узенький пролив белые были отброшены обратно на крымский берег, и создалась угроза форсирования пролива советскими войсками. Под прикрытием артиллерийского огня их цепи уже спускались к соединяющей берега гати. И генерал Слащов лично повел в атаку свой последний резерв.

Батальон юнкеров в 120 человек был усилен танкистами, чьи тяжелые машины все равно не могли двинуться вперед. Выстроив этот сборный отряд в колонну и приказав оркестру играть марш, Слащов вывел своих людей на гать — и...

В советской литературе подобные действия принято называть бессмысленным термином «психическая атака». На самом деле моральный эффект, эмоциональное воздействие, имеющее целью сломить волю противника, присуще абсолютно *любому* виду военных действий — атаке, маневру, удачно выстроенной обороне, хорошо организованному артиллерийскому огню; слащовский же марш по Чангарской гати в основе своей имел не «психические» (психологические), а самые что ни на есть рациональные соображения.

Оркестр в бою и присутствие в первых рядах атакующих старшего начальника хотя и были средством исключительным, но отнюдь не относились к области чего-то необычного или еретического. Будущих офицеров фактически *готовили* к этому в русских военных училищах, причем оркестр, знамена и проч., равно как и сам сомкнутый строй на поле брани, считались средствами сплочения и воодушевления *своих* войск, а вовсе не «запугивания» врага. Не

следует упускать из виду и тактических особенностей атаки на Чангаре: для ее успеха необходимо было подвести атакующих к противнику «компактной», плотно сбитой массой, которая могла бы всем своим импульсом разметать красные ряды; при преодолении гати перебежками или еще каким-либо «полевым» способом были бы потеряны управление и эта «компактность», хотя колонна, конечно, выглядела гораздо более уязвимой для огня.

Впрочем, огонь оказался абсолютно неэффективным. Мгновенно изменившаяся обстановка на поле боя, нервируя красных, заставляла их спешить, опомнившаяся белая пехота тоже устремилась в атаку, поддерживая колонну Слацова, а вслед за генералом по мосту двинулись бронепоезда. В конце гати юнкера ударили в штыки, опрокинули и погнали противника.

Результат боя на Чангаре превзошел все ожидания – красные были отброшены, а белые получили плацдарм для дальнейшего продвижения на материк. В том, что оно предстоит, никто не сомневался: Главнокомандующий по настоянию Слацова специально объявил о невозможности мира с большевиками. Штаб Врангеля, Впрочем, мог еще в конце марта вынашивать планы переноса боевых действий в Северную Таврию. Тогда попытка не удалась, и, быть может, именно поэтому начал завязываться узел неприязни и взаимного недоверия, которые в недалеком будущем окончательно испортят отношения Врангеля и Слацова.

Момент прорыва на материк наступил в ночь на 25 мая. Накануне общего удара на перешейках корпус Слацова (после очередной реорганизации он стал называться 2-м армейским) высадился на побережье Азовского моря, несмотря на жестокую болтанку, почти шторм, и удары налетавшей советской авиации. Не давая опомниться ни своим войскам, ни тем более противнику, генерал лично повел конницу. Началось победное наступление Слацова на Мелитополь.

В Мелитополь он ворвался уже 29 мая, как всегда, первым, в сопровождении всего лишь пятерых конвойцев. Вокруг еще бушевал бой, людьми владело ожесточение, но когда белые конники наскочили на большую группу бросивших оружие и испуганно сгрудившихся красноармейцев, – оказавшийся неподалеку генерал бросился наперерез: «Это наши братья, не смей их рубить!» – и был встречен дружным и благодарным «ура» пленных. Вообще очень человечный по отношению к сдающим, Слацов в те дни с полным правом писал в распространяемой по Таврии листовке:

*«Стрелки 3[-ей] Советской Дивизии.*

*Ваши комиссары наврали Вам, что мой корпус расстреливает пленных.*

*Ни один пленный красноармеец не расстрелян – после перехода к нам буду считать Вас своими братьями – Русскими людьми.*

*Ни один мужик корпусом не ограблен – иду с русским народом и за народ.*

*Слацов»*

Успех, Впрочем, имели не только эти воззвания, но и активные действия слацовских дивизий; рассказывали, что среди воевавших против них красноармейцев были случаи отказа идти в бой, «потому что Слацов – непобедим»... И свою репутацию генерал как нельзя лучше подтвердил в боях, за которые был награжден только что учрежденным орденом Святителя Николая Чудотворца II-й степени.

Однако стратегических последствий майско-июньские операции, включая даже сокрушительный разгром советской конной группы Д. П. Жлобы, не возымели. Во всем «врангелевском периоде» войны вообще не видно единой



стратегической идеи: стремительным ударом заняв всю Северную Таврию, Главнокомандующий как будто поставил задачей удержание освобожденной территории – как показывал опыт, крайне рискованный, если не заведомо обреченный на неудачу способ действий.

Слащов, в отличие от Врангеля, имел четко сформулированный стратегический план, бывший, впрочем, не менее рискованным. Он указывал Врангелю на Правобережье Днепра, где разгорались крестьянские восстания и откуда можно было взять во фланг группировку советского Юго-Западного фронта, действующую против поляков. Риск же заключался в том, что немногочисленная армия была не в состоянии, перенося центр тяжести своих операций за Днепр, одновременно надежно прикрыть Северную Таврию. Очевидно, Слащов готов был даже поступиться Крымом, но Врангель с этим планом согласиться не мог.

Речь здесь шла, сознавали это или нет оба генерала, о принципиальном характере Белого движения. Стратегия Слащова восходила к традиции раннего, еще корниловского добровольчества – эпохе ледяных походов, кочующих армий и пренебрежения базой и линией фронта, Главнокомандующий же предпочитал прочно закрепить за собою всю Таврию, создав там «опытное поле» русской государственности. Недалекое будущее показало, однако, что фактическая передача инициативы в руки противника к добру не приводит, и уже в конце июля за нее пришлось расплачиваться Каховкой...

Захват Каховского плацдарма на левом берегу Днепра стал значительным успехом красных. Изнемогавшие в боях полки Слащова несколько раз били и сбрасывали в реку переправлявшихся большевиков, но численное превосходство тех было слишком большим, с высокого правого берега советская артиллерия господствовала над левобережьем, и разгромить занявшую плацдарм красную группировку можно было попытаться только во взаимодействии с конным корпусом генерала И. Г. Барбовича. Однако Врангель не торопился подчинять его Слащову, а когда это все-таки было сделано, предписал Барбовичу «усиленно беречь конницу» и в конце концов отдал категорический приказ вывести из боя уже втянувшиеся в него конные полки и отойти в резерв. Ссылаясь на «офицеров, служивших под начальством Слащова и бывших возле него во время этой операции», современник рассказывал, «как рыдал Слащов, когда эта конница, получив повторное приказание из штаба Врангеля, наконец решительно отказалась повиноваться Слащову и ушла в тыл...»

Всяким человеческим силам положен предел. Это прекрасно понимал Яков Александрович, и наибольшим, чего он мог добиться, было нанесение противнику возможно сильнейшего урона. Но если это и было достигнуто (белые в те дни забирают пленных в количестве, заметно превосходившем их собственную численность), изменить стратегическую обстановку уже не удастся: инициатива и здесь перешла к большевикам.

Наверное, понимал это и Врангель; по крайней мере, Слащову была прислана из Ставки телеграмма, чрезвычайно резко оценивавшая его действия. Не одержав победы на «внешнем» фронте, Главнокомандующий достиг ее на фронте «внутреннем», спровоцировав неугодного ему генерала на рапорт об отставке, которая и была принята 4 августа 1920 года.

\* \* \*

Слащов чувствовал себя уязвленным, однако на всеобщее обозрение назревающий конфликт вынесен не был. Главнокомандующий хотел удержать Якова Александровича от перехода в активную оппозицию: популярность генерала в войсках и среди населения Крыма могла сделать его опасным про-

*Генерал-лейтенант  
Я.А. Слащов-Крымский*

---

тивником, а вражда между двумя личностями такого масштаба грозила дестабилизацией политической обстановки. Понимал это и Слащов, во имя общего дела занявший позицию демонстративной лояльности к Главнокомандующему. Впрочем, внутренняя напряженность отнюдь не исчезла.

Не прошло и недели после многократно опубликованного хвалебного приказа Врангеля – «России отдал генерал Слащов свои силы и здоровье и ныне вынужден на время отойти на покой», – как на «отошедшего на покой» было заведено уголовное дело по статье, говорившей об «умышленном убийстве, изнасиловании, разбое, грабеже и умышленном зажигательстве или потоплении чужого имущества», с «особым надзором начальства» в качестве меры пресечения. Обвинения вызвали вполне понятное и громогласное негодование Якова Александровича, после чего «подследственному» было официально поручено возглавить комиссию по вопросам улучшения быта военнослужащих (!), а обвинения «смягчили» до сознательного «попустительства» начальника подчиненным ему преступникам. Все это, в общем, выглядело дурным анекдотом, тем более что следствие заглохло за отсутствием каких-либо данных о действительных или мнимых преступлениях Слащова. С другой стороны, полностью игнорированы были и рекомендации, сделанные его комиссией (ужесточить сбор налогов, предложить имущим кругам «сознательно отдать половину своего состояния... на финансовое и экономическое возрождение России» и «воздвигнуть виселицу для спекулянтов... торгашей и себялюбцев»). «Улучшение его здоровья оказалось лишь кажущимся<sup>68</sup>, – писал в связи с этим докладом Врангель о Слащове. – Отдых, повидимому, не рассеял тумана в его голове».

Эта реплика – единственное, что считал нужным Главнокомандующий сказать о полководце, которому был немало обязан, – лишь один образчик вакханалии сплетен, разыгравшейся вокруг имени опального генерала. Беспредельно повторялось: Слащов – алкоголик, ни дня не способный прожить без спиртного, кокаинист, находящийся под постоянным воздействием наркотика, наконец, просто сумасшедший, все же успехи его – прихоть слепого случая. Думается, лучший ответ на подобные домыслы дал сам генерал в разговоре с П. А. Клодтом, состоявшемся уже в Константинополе.

*«Я откровенно высказал Я[кову] А[лександровичу] все, что слышал о нем неблагоприятного, – вспоминал Клодт. – Он выслушал меня и ответил:*



*“Меня рисуют отчаянным пьяницей, кокаинистом, приписывают мне целый ряд чуть-ли не преступлений. Вы меня хорошо знаете. Можете-ли Вы этому поверить? Видели-ли Вы меня когда-нибудь пьяным? Что я любил выпить, я этого не отрицаю, но пьяным меня ни Вы и никто в полку не видел. Что касается кокаина, то я прибегал к нему, когда для спасения дела мне приходилось не спать по несколько ночей сряду. Но кто-же может за это осудить меня? Привычным кокаинистом я никогда не был. Мне приходилось действовать в исключительно трудной обстановке, я мог ошибаться, но все мои поступки отвечали моей совести. Другой образ действий я считал бы недостойным моего родного полка, о котором всегда помнил. Если бы я вел такую жизнь, какую мне приписывают, неужели это не отразилось бы на моем здоровье, на моем внешнем виде? Разве я уж так изменился?” Я смотрел на него – передо мною стоял прежний Я[ков] А[лександрович] с своей обычной улыбкой, очень мало изменившийся, несмотря на свое вообще некрепкое здоровье и на все бесчисленные ужасы, которые ему пришлось пережить. Я расстался с ним успокоенный».*

Последнее тоже немаловажно, ибо внешний облик генерала становился объектом пересудов не в меньшей степени, чем все остальное. Но обращаясь к мемуарным свидетельствам, мы видим, что на каждое отталкивающее описание опустившегося или не вполне нормального человека находится противоположное, рисующее Слащова жизнерадостным и здоровым (вплоть до рассказа Владыки Вениамина: «Бодрящее и милое впечатление произвел он на меня. Что-то лучистое изливалось от всей его фигуры и розового веселого лица...»), – здоровым за исключением многочисленных ранений, иные из которых – особенно рана в ступню – мучительно тревожили его, также, возможно, заставляя прибегать к болеутоляющим средствам. Слащов, не раздумывая, ставил на карту свое здоровье с той же легкостью, как в бою – свою жизнь, и именно потому, что должен был быть в бою независимо от состояния здоровья. Современник и запомнил его в атаке «в валенке на одной ноге и в сапоге на другой» – нестерпимая боль не позволяла даже надеть сапог...

Ореол славы «спасителя Крыма» продолжал окружать Слащова. 20 августа ялтинская городская дума преподнесла ему звание почетного гражданина Ялты, и в начале сентября Яков Александрович переезжает туда из Севастополя, однако ненадолго. Тревожные слухи о тяжелых боях в Северной Таврии, конечно, не могли миновать его; по приглашению Врангеля генерал приезжает в Ставку, но возвращается разочарованным, не увидев там духа решимости, дерзания, уверенности в собственных силах. В Севастополе же Яков Александрович неожиданно для себя, да должно быть, даже и не догадываясь тогда об этом, сам оказался... угрозой Главнокомандующему: тому показалось опасным внимание публики, окружившее яркую фигуру «генерала Крымского». 20 октября Слащов получил предписание «незамедлительно отправиться в распоряжение генерала Кутепова»; «одновременно, – писал Главнокомандующий, – сообщая последнему о Вашем выезде и предлагаю использовать Вас для объединения командования частями на одном из участков фронта». Якову Александровичу осталось неизвестным, что «последнему» в действительности, по позднему признанию самого Врангеля, было приказано, «чтобы он задержал генерала Слащова при себе, не допуская возвращения его в Севастополь». В штабе Кутепова Яков Александрович и узнал о падении Перекопских и Юшуньских позиций. Но окончательно все испортили, по его мнению, даже не поражения в боях, а приказ Главнокомандую-



*Часовой у знамени Лейб-Гвардии Финляндского полка. Галлиполи, 1921 год*

щего и объявление Правительства об эвакуации, изданные и распространенные 29 октября 1920 года.

Слащов негодовал, оценивая их как призыв «Спасайся, кто может!» и считая, что именно они сделали остатки Армии небоеспособными. И все же генерал не успокаивался, предлагая Врангелю «из тех, кто не желает быть рабом большевиков, из тех, кто не желает бросить свою Родину, – сформировать кадры Русской Армии, посадить их на отдельные суда и произвести десант в направлении, доложенном вам мною еще в июле месяце и повторенном в моих докладах несколько раз».

Здесь перед нами вновь не просто столкновение двух личностей, а несхожесть принципов борьбы. Для Врангеля, который заблаговременно распорядился готовить эвакуацию, уже было позволительным покидать Россию на неопределенное время и с неопределенными перспективами и фактически отдавать беженцев и, что еще важнее, Армию на милость союзных держав; наступал новый этап борьбы, по-прежнему остающейся антибольшевицкой, национальной, освободительной, но уже отходящей от прежних Белых традиций. Напротив, Слащов – весь в прошлом, во вчерашнем дне героической Белой Легенды, эпохе безумного самопожертвования и несомненной, не подвергаемой обсуждению готовности «победить или умереть» здесь, в России, никуда не уходя с родной земли. В пользу Врангеля говорит спасение от большевицкой расправы, по разным оценкам, 135–150 тысяч человек, но и авантюра Слащова в условиях крайнего измождения сил красных, похоже, имела все-таки некоторые шансы на оперативный успех и могла затянуть войну еще на одну зиму. Победила же, конечно, точка зрения Врангеля, попросту не во-

Требую

Суда Давыдова и

машинисты

Слава Крамкин

ГЕН. Я. А. СЛАЩЕВЪ-КРЫМСКІЯ

**ТРЕБУЮ**

**СУДА ОБЩЕСТВА  
И ГЛАСНОСТИ**

**(ОБОРОНА И СДАЧА КРЫМА)**

**МЕМОАРЫ И ДОКУМЕНТЫ**

**КОНСТАНТИНОПОЛЬ**

**1921**

шедшего в рассмотрение планов своего порывистого подчиненного. Вместе с Кутеповым Слащов в ночь на 1 ноября возвращается в Севастополь и делает попытку прорваться к Главнокомандующему, но тот, опять же через Кутепова, отказывает ему. И Яков Александрович, взвинченный происходящим на его глазах крушением всего Белого Дела, кажется, начинает приходить к рискованным решениям...

\* \* \*

Обстановка была для него слишком тягостной. Эвакуация Врангеля из Крыма, конечно, по организованности далеко превосходила то, что творилось, скажем, в Новороссийске, — но никакой исход многотысячных людских масс, из которых дисциплинированные воинские контингенты составляли не более трети, по самой природе своей не может пройти совершенно гладко и всегда будет сопровождаться трагедиями, недостатком мест, сутолокой, неразберихой, сломанными человеческими судьбами. На впечатлительного и эмоционального Слащова, не обладавшего беженским опытом и оказавшегося среди такого человеческого водоворота впервые, все это должно было произвести особенно сильное впечатление, достигшее кульминации, когда он столкнулся с остатками Лейб-Гвардии Финляндского полка.

С Финляндцами было Георгиевское знамя, врученное Государем в 1906 году. Священное полотнище удалось пронести через всю Смуту, спасая от большевицкого надругательства, — теперь же, несмотря на личное распоряжение Врангеля, места полку и знамени на кораблях не нашлось; но, когда офицеры уже готовились зарывать в землю полковую святыню, судьба послала им Слащова.

Спасение знамени — честь, о которой мог только мечтать любой солдат и офицер, — стало последним деянием генерала Слащова-Крымского на еще свободной русской земле. Пользуясь своей популярностью среди морских офицеров, он устроил Финляндцев на ледокол «Илья Муромец» и сам взошел на его борт, поскольку назначенного для генерала корабля уже не было в порту. Ко всему этому добавлялись еще страшные подозрения о свившей гнездо в штабах измене, и хотя документальных оснований для таких обвинений нет, субъективные переживания возмущенного и мечущегося Слащова уже толкали его, кажется, на попытку переворота.

Его видят и на рейде Севастополя, и в первые часы изгнания, в константинопольской бухте, — на палубе корабля с рупором в руках. Он что-то кричит; «пытался оправдаться», — заметит много лет спустя один из очевидцев, — но тогда Слащову еще не в чем оправдываться, и он не оправдывается. Он обвиняет. Только теперь, когда все рухнуло, и ни днем ранее, он идет в открытую атаку на Главнокомандующего, которого считает недостойным его поста. И союзника себе Слащов ищет в генерале Кутепове.

«Приехав в Босфор, — рассказывал Яков Александрович, — я... указал Кутепову на необходимость смены штаба.

Кутепов во всем со мной согласился и взялся передать генералу Врангелю мой рапорт...»

На самом деле поданный 19 ноября 1920 года рапорт говорил отнюдь не только о «смене штаба». Упрекая Главнокомандующего в потере Крыма, Яков Александрович требовал у Врангеля передать свой пост Кутепову. Верный себе, Слащов подчеркивал впоследствии, что, по его мысли, смена Главнокомандующих должна была произойти легальным путем, «чтобы сохра-

нился принцип преемственности власти<sup>69</sup>, чтобы не было того, что принято называть *coup d'état*<sup>70</sup>, — признавая тем самым, что налицо все-таки была попытка переворота.

Но Врангелю удалось погасить бунт быстро и без лишнего шума. Очевидно, он убедил Кутепова в нецелесообразности подобных действий и предоставил ему полную власть над самыми стойкими кадрами Армии, размещенными в Галлиполи, себе же оставил защиту нужд и интересов русских беженцев перед союзным командованием в Константинополе. В этом распределении ролей для генерала Слацова не было места, и он исключается из состава Армии.

Новым ударом для него стала резолюция «собрания русских общественных деятелей», призывающая во имя продолжения борьбы с большевизмом сплотиться вокруг Врангеля. Слацов в письме к председателю собрания повторил упреки, брошенные им ранее Главнокомандующему, но они не были услышаны. Врангель же, создав «суд чести старших офицеров Русской Армии», 21 декабря уволил генерала Слацова-Крымского от службы «без права ношения мундира».

Возмущенный Слацов доказывал, что приказ был незаконным. Теперь генерал дрался в одиночку, и следующим его ударом стал выпуск в январе 1921 года книги «Требую суда общества и гласности (Оборона и сдача Крыма)», в которой он настаивал на моральном осуждении Главного Командования. Книга привлекла к себе внимание публики, и в глазах «общества», к которому апеллировал Слацов, два генерала окончательно стали антиподами. И тем не менее громом среди ясного неба оказался следующий шаг «генерала Крымского», в первой половине ноября 1921 года неожиданно уехавшего из Константинополя... в Советскую Республику.

Во многом он был олицетворением самой Белой борьбы — один из первых Добровольцев, «победитель махновцев и петлюровцев» (формулировка агитационного плаката с его портретом), защитник Крыма, монархист, солдат до мозга костей, демонстративно враждебный «гнилому тылу»... — и теперь его отъезд давал великолепный повод для скрытого злорадства тем, кому был антипатичен как сам Слацов, так и дело, за которое он сражался три года. Теми же, кто не питал к генералу злобы, овладело недоумение.

Зачем он это сделал?!

\* \* \*

Не избежать этого вопроса и нам — слишком уж противоречит «возвращение»<sup>71</sup> Слацова всей его предыдущей биографии. Дальнейшее в значительной степени относится к области неподтвержденных (а может быть, и неподтверждаемых) догадок, поэтому следует сразу сделать два принципиальных замечания.

Разумеется, генерал Слацов был далеко не единственным белогвардейцем, эмигрировавшим, а затем вернувшимся в Россию. Именно поэтому в данном случае мы не собираемся выводить каких-либо общих правил для «возвращенцев» и не считаем, что «возвращение», пусть даже десятков тысяч, само по себе способно объяснить «возвращение» одного человека. Мы — не о десятках тысяч; мы — об одном генерале Слацове.

Другое исходное положение наших рассуждений относится как раз не к общему, а к индивидуальному. «Чужая душа — потемки», и исследователь может, разумеется, признать за своим героем «право» в любой момент совершить любой поступок, логически не связанный ни с предыдущим, ни с после-



дующим или даже противоречащий всему, что мы знаем о человеке. Тем не менее в случаях, когда имеются конкретные факты биографии, окружающие такой спорный поступок, игнорировать их недопустимо, особенно если они к тому же выстраиваются в какую-либо систему; а именно логическую систему мы и попробуем увидеть в тех событиях и свидетельствах современников, которые до сих пор были недостаточно известны.

Не приходится обсуждать злобных обвинений, что Слацов был «куплен», поскольку сребролюбие никогда не было свойственно Якову Александровичу, более того – еще в начале Гражданской войны все вывезенные из Петрограда личные ценности были им потрачены на нужды белогвардейской организации, – и непонятно, почему вдруг в эмиграции его в одночасье оказалось столь легко «купить». Версия, будто эволюция взглядов генерала началась еще весной 1920 года под влиянием воззвания к русским офицерам А. А. Брусилова и группы других старых военачальников, ни на чем не основана, а приводимая ее автором ссылка на документальный источник фальсифицирована (Слацов там даже не упоминается). Более правдоподобными выглядят предположения о «тоске по родине» или желании «не отделяться от России и переносить все, выпавшее ей на долю, веруя, что “претерпевший до конца, той спасен будет”<sup>72</sup>», но оба они отличаются умозрительностью и недоказуемостью, апеллируя, в сущности, к тем самым потемкам в чужой душе. Не выдерживает критики и заявление о «раскаянии», ибо в опубликованных уже в СССР мемуарах Якова Александровича, несмотря ни на что, как раз раскаяния-то и не видно: они написаны с чувством спокойной гордости за все содеянное, а фразы о собственном «недостатке сознательности» звучат при этом едва ли не злой иронией.

Среди личных мотивов упоминались также малодушие, слабость, «соблазн», обида, уязвленное самолюбие, причем даже автор, решительно не приемлющий слацовского поступка, писал об этом:

«...Слацова больше жалели, но не презирали.

Жалели за малодушие, обычно ему не свойственное, жалели за то, что общую прекрасную белую идею, которой он когда-то так доблестно служил, ему не удалось поставить выше личного, случайного, жалели за ложный, самоубийственный шаг, повлекший за собой все последующие и доведшие его до окончательного морального падения.

Жалели, – но, кажется мне, не ненавидели.

Особенно те, кому хоть некоторое время довелось быть с ним в боевой работе».

Это свидетельство очень ценно. Выдвигая версию о «личном, случайном» как главном мотиве Слацова, оно, в сущности, само же и подводит к ее опровержению, показывая, что личность генерала не до конца утратила вес в белогвардейских кругах даже после шага, однозначно квалифицированного многими как «измена». А ведь противостояние с Врангелем могло стать основной причиной отъезда в РСФСР, только если бы оно повлекло за собою остракизм, полное изгнание Слацова из той среды, которая была для него единственно близкой. Но эмиграция отнюдь не была однородной, и оставаться белогвардейцем вполне можно было и не будучи «вранжелистом» (выражение В. В. Шульгина). Так, с явным пиететом относились к Слацову радикальные монархические круги, испытывавшие явный недостаток громких имен, – и у Якова Александровича были все данные, чтобы занять в какой-либо из подобных организаций высокое положение,

позволяющее, кстати, и избежать материальной нищеты. Более того, он и сам «состоял в распоряжении» Великого Князя Димитрия Павловича чуть ли не накануне отъезда в РСФСР. Наконец, были бы определенные шансы на успех и у самостоятельной «слащовской партии», пожелай генерал собрать вокруг себя единомышленников и начать свою собственную политическую игру, — коль скоро на Церковном Соборе в Сремских Карловцах находились фантазеры, в кулуарах выдвигавшие кандидатуру Якова Александровича на... Российский Престол «якобы как незаконного сына Александра III» (!!); самое удивительное, что было это, когда генерал уже находился в Советской Республике (Собор проходил с 21 ноября по 3 декабря 1921 года).

Вся эта эмигрантская каша, в которой серьезные и выстрадавшие чувства порой соседствовали с откровенным фарсом, тогда еще только заваривалась, так что возражение, будто Слащов мог сразу разглядеть бесперспективность подобных попыток и предпочесть службу в «настоящем», хотя бы и большевицком государстве, — не выглядит убедительным. Да, наконец, осенью 1921 года еще не окончилась вооруженная борьба; на Дальнем Востоке сражалась Белоповстанческая Армия, и обсуждались даже проекты переброски туда русских войск из Турции. И как бы скептически ни относился Яков Александрович к любой эмигрантской деятельности, — это не объясняет, почему он мог предпочесть ей режим, с которым начинал войну одним из *первых* и заканчивал одним из *последних* (и *последним* из военачальников его уровня, кто еще рвался в бой после падения Перекопа и Юшуня!). «Зачем он туда поехал? Что его привлекало там? — размышлял генерал Клодт. — Опасность, которой он подвергался, была очевидной; что же он рассчитывал получить взамен? Скромная роль “военспеца” едва ли могла его прельщать, он был слишком крупный человек, чтобы соблазниться такой “серой” будущностью...»

Единственное, казалось бы, чем *мог* «соблазниться» генерал Слащов, предпочтя «Совдепию» — «эмигрантщине», *могла* стать вывернутая большевиками идея «Единой Неделимой России», борьбы за «русские рубежи» (и Советскую власть) против мифической «интервенции» иностранных держав, в недружелюбии которых кто-кто, а уж белогвардейцы-то смогли убедиться на собственном опыте. Только это могло найти отклик у русского офицера, и только на этот «соблазн» и *мог* поддастся Яков Александрович.

Мог... но поддался ли?

Конечно, как и все Белые вожди, он был «единонеделимцем» и, как большинство белых, испытывал к союзникам по Антанте чувства, варьировавшиеся от сдержанной неприязни до яростной ненависти (к «предателям-французам»). Но кроме того и прежде того он был антикоммунистом, понимавшим, что хуже большевиков для России ничего быть не может. Ведь это он в 1920 году допускал идею «федерации с Украиной»; это он стратегические планы кампании 1920 года развивал в направлении боевого сотрудничества с Польшей; это он весной того же 1920-го удовлетворенно объявлял в приказе поступившие с Дальнего Востока сведения, что «Япония начала энергичные наступления<sup>73</sup> своей армией»; наконец, это он, уже в Константинополе, вполне дружелюбно разговаривал с представителями английской разведки. Верность «Единой Неделимой» независимо от цвета флага над ней стала официальным объяснением поступка Слащова... но насколько это объяснение соответствовало истине?

А ведь существуют и другие факты, позволяющие утверждать, что незадолго до отъезда в РСФСР взгляды генерала Слацова оставались прежними. Так, Александр Вертинский слышал, как Яков Александрович «кричал, что Россию продали немцам». Артист, признававшийся: «Трудно было понять что-нибудь в этом потоке бешенства», — отнес реплику на счет «издевательств над германским происхождением Врангеля» (не немца, а шведа в довольно отдаленном поколении), но в устах Добровольческого офицера она имела смысл вполне однозначный: «немецкими наемниками» с начала и до конца войны именовались большевики...

И все-таки генерал в конце концов принял предложение советских эмиссаров в Константинополе об амнистии и отъезде в РСФСР.

Почему же?

Для ответа на этот вопрос следует обратить внимание на некоторые обстоятельства, пока ускользавшие от внимания тех, кто писал о «возвращении» генерала Слацова. Дело в том, что, помимо красной агентуры, на Якова Александровича стремились оказывать влияние и многочисленные сторонники идеи консолидации сил и сплочения вокруг Врангеля.

«...Кроме Врангеля и Слацова Армия никого не знает.

Других имен, могущих объединить и спаять изверившихся во всех и всем солдат, — нет...

Надо протянуть друг другу руки, и тогда Армии, страдающей на чужбине, хотя [бы] морально станет легче нести тяжелую страду изгнания», — писал автор анонимной брошюры «Ответ генералу Слацову-Крымскому», и его чувства разделяли, наверное, многие. Абсолютно лояльным к Главнокомандующему был Донской Атаман генерал А. П. Богаевский, общавшийся с Яковом Александровичем; офицеры Лейб-Гвардии Атаманского полка устраивали даже специальный обед, на котором старались убедить приглашенного Слацова в пагубности разжигаемой им вражды; к той же задаче был привлечен сербский посланник; просил Врангеля использовать Слацова в совместной работе В. В. Шульгин. И особо отметим свидетельство генерала Н. В. Шинкаренко, в разное время бывшего подчиненным и Врангеля, и Слацова: незадолго до «возвращения» Слацов «устыдился, что ли, и выразил раскаяние» в выпуске своей книги. Сделать это он мог, например, во время личной встречи с Главнокомандующим.

Да, такая встреча была. Эти люди, казалось бы, окончательно разведенные по разные стороны пропасти, дважды встречались и беседовали перед неожиданным поступком Слацова, причем в обстановке если и не конспиративной, то по крайней мере исключаяющей широкую огласку. В РСФСР Слацов сначала пытался скрыть факт этих бесед, а в дальнейшем (возможно, уличенный) пробовал «легализовать» их, подавая дело так, будто не имел к организации встреч никакого отношения и последствий они не получили. А вот в этом позволено будет усомниться...

Причины сомнений изложим чуть ниже, пока же подытожим наши наблюдения над недолгим эмигрантским периодом биографии Слацова-Крымского: не имевший видимых серьезных причин для «возвращения», он принял предложение советской разведки как раз после улаживания конфликта с Врангелем (причем о том, что конфликт был исчерпан, знали немногие) и даже после двукратных встреч с Главнокомандующим. И вскоре супруги Слацовой, а с ними — четверо офицеров, в том числе полковник Мезерницкий, тайно сев на итальянский пароход, столь же тайно отплыли в Севастополь.

Конспирация требовалась хотя бы потому, что за деятельностью генерала Слащова в Константинополе пристально следила французская контрразведка: неприязнь Якова Александровича к французам, всемерно толкавшим Русскую Армию к распылению, ни для кого не была секретом. Настроения генерала разделялись значительным числом русских солдат и офицеров, причем именно тех, кто сохранял наибольшую непримиримость к большевизму – Галлиполийцев. Напряженность дошла до того, что создавалась угроза ареста французами Главнокомандующего; в ответ размещенные в Галлиполи войска Кутепова изготовились к... походу на Константинополь.

Этот вполне реальный план (англо-французские оккупационные войска не смогли бы оказать серьезного сопротивления) подкреплялся еще и тем, что на турецкой политической сцене присутствовала сила, подходившая на роль союзника русских в этом столкновении. Герой Великой войны М. Кемаль-паша стремился вывести страну из тяжелого положения, в котором она оказалась после капитуляции, и становился естественным противником победоносной Антанты. Сейчас он пользовался помощью большевиков, но, как «реальный политик»-прагматик, был готов к сотрудничеству со всеми, кто оказывался нужным в данный момент, и идея разбить альянс кемалистов с Советской Республикой отнюдь не выглядела нереальной. Пути к Кемалю искало и командование Русской Армии, и Слащов; с турецкой же стороны переговоры с Яковом Александровичем вел... а вот имя этого человека будет для нас вдвойне интересно.

Потому что человеком этим был тоже белогвардейский генерал, Султан-Келеч-Гирей, черкесский князь, оказавшийся у Кемалю как единоведец-магометанин. Этого уже хватило бы, чтобы привлечь к столь колоритной фигуре наше внимание, но существует и еще одно, гораздо более важное обстоятельство.

Немедленно после «возвращения» Слащову и его спутникам-офицерам, конечно, пришлось ответить на вопросы, поставленные перед ними Чрезвычайной Комиссией. Сразу заметим, что сведений о количественном и качественном составе Русской Армии Яков Александрович, как это видно из протокола, фактически не дал, да скорее всего точных данных не имел и сам; намного больше внимания он уделил характеристике лиц начальствующего состава.

Слащовым, Мезерницким и капитаном Б. Н. Войнаховским были перечислены генералы, якобы «разделяющие» их настроения и при определенных условиях даже «готовые к возвращению». И если о К. К. Агоеве, Г. Б. Андгуладзе и Г. А. Дубяго и их подлинных замыслах сложно что-либо сказать, кроме того, что они «возвращенцами» не стали и окончили свои дни в изгнании, оставаясь на вполне белогвардейских позициях и занимая заметные посты в воинских организациях, а А. П. Богаевский и С. Г. Улагай были даже близки к кругам, пытавшимся организовать на советской территории повстанческую борьбу, то остальные три фамилии, названные Слащовым и Войнаховским, просто повергают в недоумение.

Эти трое – уже известный нам Султан-Келеч-Гирей, Походный Атаман Кубанского Войска В. Г. Науменко и... бывший Донской Атаман П. Н. Краснов – как нельзя лучше проявили свое отношение к коммунизму в годы Второй мировой войны, сотрудничая с немцами. Нет ровным счетом никаких данных,

Я. СЛАЩОВ

КРЫМ  
в 1920 г.

отрывки  
— из —  
воспоминаний

предисловие Д.Фурманова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

*Обложка первого издания воспоминаний  
Я.А. Сладкова «Крым в 1920 г.» (М., 1924)*

которые позволили бы утверждать, что взгляды генералов претерпели за межвоенный период радикальные перемены, а неизменность позиции Краснова определенно засвидетельствована его литературным творчеством. Размышляя же, зачем Слацову нужно было снабжать своих чекистских «собеседников» такой дезинформацией, стоит отметить, что практическим ее следствием могло стать, например, выведение на «сочувствующих» – советской агентуры за границей... А кому это было выгодно – понятно и без комментариев.

После приезда в Советскую Республику Слацов выступил с обращением «к офицерам и солдатам армии Врангеля и беженцам», призывавшим их возвращаться и предостерегавшим от превращения в «наемников против своей родины, своего родного народа». Интересно сравнить это воззвание с заявлением Якова Александровича, опубликованным за границей уже после его отъезда из Константинополя: «В настоящий момент я нахожусь на пути в Крым. Все предположения, что я еду устраивать заговоры или организовывать всех повстанцев, – бессмысленны. Внутри России революция окончена... Если меня спросят, как я, защитник Крыма от красных, перешел теперь к ним, я отвечу: я защищал не Крым, а честь России. Ныне меня зовут защищать честь России, и я еду выполнять мой долг, считая, что все русские, военные в особенности, должны быть в настоящий момент в России».

Какое странное письмо! «По-слацовски» сумбурное, оно свидетельствует в сущности лишь об одном: генерал прекрасно понимал, что отъездом в РСФСР он ставит под удар единственное, что у него оставалось, – солдатскую честь, и это мучило его и заставляло пытаться объяснить что-то, чего объяснять он не мог или не должен был. В процитированных строках нет уверенности человека, считающего, что его выбор правилен: они полны беспокойства и недоговоренности... И вряд ли Советская власть так уж звала белогвардейского полководца «защищать честь России». Тогда кто же его звал?

Столь же двойственное впечатление производит ответ на вопрос «какой партии сочувствуете» в советской анкете Слацова: формулировка «Сочувствую политике, проводимой в настоящий момент представителями партии большевиков» не позволяет отрешиться от мысли, что писавшему мучительно даже такое «исповедание веры»... Так следует ли удивляться, что все это только усугубляло недоверие к Слацову со стороны советского руководства? Что генерал, по его словам, «открыто вышедший в отставку и имеющий право поступить на ту службу, куда влечет его сердце», не мог никого убедить этими словами, ибо меньше года назад восклицал: «Русская Армия, солдатом которой я был, есть и буду, – она умереть не может и не должна!» – относя это к кутеповскому корпусу, стоявшему под ружьем в Галлиполи? Что его стремление занять строевую должность и получить таким образом в руки вооруженную силу просто обязано было насторожить большевиков вплоть до самых высших инстанций (вопрос обсуждался на заседании Политбюро)? И могло ли быть ответом что-либо иное, кроме «рекомендации» генералу Слацову обратиться к «писанию мемуаров за период борьбы с Советской Россией» и при этом «воздержаться от встреч, посещений и пр., дабы внимание не рассеивалось и работы над мемуарами не затягивались»?..

Последнее, впрочем, вполне соответствовало настроениям самого генерала: уже к концу 1923 года он завершил воспоминания, отрывки из кото-

рых увидели свет в следующем году под заглавием «Крым в 1920 г.». Слащов так спешил, что не только не удосуживался поверять свою память оставшимися в России документами, но и, кажется, даже не перечитывал написанного и уж во всяком случае не читал корректуры (книга получилась стилистически довольно неряшливой). Еще во время работы над воспоминаниями, с июля 1922 года он был назначен преподавателем тактики Стрелково-тактических курсов усовершенствования комсостава РККА (курсы «Выстрел»).

\* \* \*

Генерал тяготился службой на курсах. По свидетельству сослуживца, он «усиленно стремился получить обещанный ему корпус. Каждый год исписывал гору бумаг об этом... Никаких, конечно, назначений ему не давали. Но каждый раз после подачи рапорта он серьезно готовился к отъезду». Одна из первых же аттестаций отмечает, что Яков Александрович «стремится уйти из школы («Выстрел». – А. К.) в строй, почему и чувствует себя свободно и независимо, мало интересуясь пребыванием в стенах школы», – в последней же (1928 год) говорится определенно: «...Рвется в строй и к работе стал относиться несколько небрежно... На Курсах работой интересоваться перестал». Однако то, что преподаватель тактики Слащов не испытывает никакого служебного энтузиазма в течение всех шести лет своей «педагогической» деятельности, отнюдь не мешает ему близко общаться со слушателями «Выстрела», задерживаясь после лекций, приходя по вечерам в общежитие, устраивая на своей квартире собрания преподавателей и слушателей...

Позднее бывший полковник-«военспец» С. Д. Харламов, не пользовавшийся симпатиями Слащова и в свою очередь относившийся к нему недоброжелательно, характеризовал эти собрания с некоторым презрением: «Выпивка была главной притягательной силой во всех попойках у Слащова. На меня не производило впечатления, что вечеринки устраиваются с политической целью: уж больно много водки там выпивалось». Но это свидетельство не выглядит убедительным хотя бы потому, что командование «Выстрела», тяготясь Белым генералом не меньше, чем он – своей службой, – несмотря на хвалебные аттестации, неоднократно настаивало на «изъятии» Якова Александровича с Курсов («принимая во внимание его политическое прошлое и одиозность фигуры»), но *ни разу* не попыталось сыграть на его «пьянстве».

В самом деле, прекрасный способ избавиться от нежелательного преподавателя – приписать «бытовое разложение» или дурное влияние на слушателей – остался неиспользованным. Лишь в одной аттестации отмечалось, что Слащов «любит выпить», «хотя наружно заметить ничего было нельзя», да Харламов говорил, будто генерал ни много, ни мало – «спаивал» своих гостей. Только говорил-то он это... на допросе в ГПУ.

Как и многие другие бывшие офицеры, Харламов был арестован в 1931 году и дал показания, в том числе и о покойном уже Слащове. И вот что поразительно: если те, кто «пил чай с Брусиловым» или «ходил в гости к Снесареву», с легкостью квалифицировались как «заговорщики» и получали приговоры – от тюремного заключения до расстрела, – то участникам «попоек у Слащова» эти собрания, похоже, не инкриминировались: дурацкая отговорка – «все были пьяны и политикой заниматься не могли», – очевидно, найдя от-

клик в суровых чекистских душах, оказалась самой действенной, и простой факт общения с подозрительным генералом не стал в 1930–1931 годах ни для кого роковым.

А ведь подозрений у советских карательных органов хватало. Помимо «внепрограммного» общения с сослуживцами и слушателями, Яков Александрович имел немало других контактов, которые должны были настораживать. Неизвестно, знали ли чекисты, что один из давних соратников генерала разыскал его в Москве, а вскоре сумел бежать из РСФСР и продолжал переписку с ним уже из эмиграции, – но в Контрразведывательном отделе ОГПУ были уверены: «К такой личности, как Слацов, не могут не тянуться нити от эмигрантских центров либо от подпольно действующих белогвардейских организаций». И нити были – ведь не обычной же почтой отправлял Слацов письмо в Париж, содержащее слова: «Ты счастлив, что удрал отсюда. Будь проклят этот ад!..»

В свою очередь, и в Зарубежье Слацова не теряли из виду. Есть упоминание, что в 1922 году была даже предпринята попытка вытащить его из Советской Республики, но она не удалась. С другой стороны, определенные круги Белой эмиграции, похоже, считали генерала полезным на том месте, где он оказался. И пока готовит своих боевиков генерал Кутепов и собирает средства на борьбу генерал Врангель, – внутри СССР собираются офицерские кружки, тянутся «нити» в Зарубежье, о чем-то беседует с молодыми «краскомами» генерал Слацов и наведывается к нему старый однополчанин полковник В. В. Жерве, собирающий и, быть может, объединяющий офицеров-Финляндцев... Но на что могли все они рассчитывать?

Неизжитыми оставались надежды на появление нового «генерала Бонапарта», который взорвал бы советский режим изнутри. Но и активность самого этого режима, бряцающего оружием на внешнеполитической арене, могла привести к переменам: развяжи большевики любой военный конфликт, все равно, под революционными или «геополитическими» (quasi-национальными) лозунгами, – и можно было бы надеяться на переброску сохранявшей еще свои структуры Русской Армии к границам СССР и открытие русско-советского фронта. А многим из разочаровавшихся в Советской власти внутри самой «Совдепии» такая ситуация и предоставила бы возможность для активных действий.

Но ничего этого, как мы знаем, не произошло. Слишком сильным оказался гнет мертвящей партийной системы, парализовавший волю политических деятелей советского режима (пройдет десять лет, и они перед лицом диких и бессмысленных обвинений будут уговаривать сами себя и друг друга «разоружиться перед партией») и наложивший отпечаток на тех «краскомов» и «военспецов», кто хотел играть до конца по предложенным правилам и делать карьеру там, где ее обеспечивало, и то не наверняка, лишь предельное самообезличивание и подмена профессиональных качеств рабской преданностью. Бонапарта не нашлось, а старые «спецы» и «возвращенцы» были слишком разобщены, многие из них – слишком подавлены и все – по существу бессильны. Любые попытки в этой ситуации становились самоубийственными.

\* \* \*

«Каторжной» назвал жизнь Слацова в СССР генерал Клодт, и этот эпитет вполне соответствовал действительности. Тяжесть ситуации Яков Александрович должен был почувствовать в первые же месяцы, когда он находился в



относительной изоляции; со временем расширился круг общения, среди слушателей курсов «Выстрел» Яков Александрович стал находить внимательных учеников, а может быть, и единомышленников, но не ослабевал гнет наблюдения и недоверия, в любой момент грозивший арестом. И если на попытку руководства курсов избавиться от «одиозной фигуры» Управление военно-учебных заведений и ответило отказом, то «окончательный вывод аттестации» – тот самый, с предложением «изъять», – начальник Управления И. Э. Якир «приказал объявить тов[арищу] Слацову»...

Скорее всего, Слацов чувствует, что над ним глумятся. «Пользуется авторитетом не только в стенах Курсов, но и вне Курсов», – вынуждена признать аттестация, но это с лихвой компенсируется отношением командования. Весной 1928 года Якову Александровичу, кажется, определенно обещают должность начальника Штаба Топцкого лагерного сбора, и назначение даже оформлено официально, но в конце мая вдруг оказывается, что должность занята; его собираются «направить в части на штабную должность», но реально это выливается лишь в отчисление с 1 ноября 1928 года «в распоряжение Главного Управления РККА». А вечером 11 января 1929-го наступила развязка...

«Убит Слацов.

Советское телеграфное агентство сообщает, что убит он каким-то Коленбергом, мстителем за своего брата, расстрелянного десять лет тому назад в Крыму по приказу Слацова.

Но кто верит большевикам и кто поверит их телеграфному агентству?»

Так писал самый авторитетный белоэмигрантский военный журнал «Часовой», и так думало большинство узнавших о гибели Слацова. «Генерала Крымского» убили чекисты, – считали по обе стороны советской границы. Прочие версии (белые в отместку за «измену», оскорбленные «краскомы», которых он назвал «идиотами») возникали и исчезали, прозвучав по одному-два раза; неубедительным выглядело и официальное заявление о «совершенно бесцельном, никому не нужном и политически неоправдываемом акте личной мести», тем более что внимательный наблюдатель мог заметить: появилось оно уже через день после убийства, а об аресте убийцы (мнимого или подлинного) сообщили только... еще два дня спустя.

Так открылось «дело» об убийстве генерала Слацова, и подобным же образом было оно закрыто: решение по докладу заместителя Председателя ОГПУ Г. Г. Ягоды приняли 25 июня 1929 года на заседании Политбюро, и лишь на следующий день уполномоченный ОГПУ вынес заключение о «невменяемости» убийцы и прекращении следственного дела. Концы в воду, таким образом, прятало «само» Политбюро ЦК РКП (б)...

Но прятали явно неудачно. Можно ли поверить, что в ноябре – декабре 1928 года Слацов, вокруг которого сжималось кольцо, «изъятый» с Курсов и наверняка ощущавший непрочность своего положения, стал бы *давать на дому уроки тактики (!)* незнакомому человеку, к тому же вообще не военному служащему (Коленберг был демобилизован и числился в военизированной охране)? Именно так утверждали «документы» следствия, а для широкой публики был затем пущен другой рассказ, согласно которому убийца не только не был знаком с убитым, но и плохо знал его в лицо, почему, заявившись к Слацову на квартиру (как будто домашние адреса белогвардейских генералов так уж были известны кому угодно!), счел необходимым удостовериться, переспросив, кто перед ним.

Больше внимания заслуживает версия, согласно которой Слащов был застрелен с улицы, через окно; примечательно, что она известна нам по трем источникам, не просто независимым друг от друга, но значительно разнесенным географически (СССР, Франция, США). Наиболее важным представляется «советское» свидетельство, гласящее, что через несколько лет после гибели генерала «старожилы» еще показывали то самое окно, через которое был убит Яков Александрович.

А это уже значительно меняет картину преступления. На смену недоразвитому (медицинское заключение) 25-летнему юнцу, дважды выгонявшемуся из армии и, может быть, действительно психически нездоровому, приходит хладнокровный и меткий стрелок, прекрасно знающий Слащова, наверное, не только в лицо, но и «со спины», и хорошо знакомый с внутренним расположением помещений в его квартире: без этого стрельба с улицы выглядит неправдоподобной.

Но почему же чекисты не решились «взять» белогвардейского генерала так же, как и до, и после этого они «брали» сотни и тысячи военных? «Они его боялись, зная его характер, – это несомненно», – писал об отношении большевиков к Слащову журнал «Часовой». Возможно, от генерала ожидали сопротивления (не потому ли, что он *знал*, за что его могут «брать»?); кроме того, арест мог подтолкнуть к действиям кого-то, неизвестного нам, – и более целесообразным представлялось уничтожить одним ударом того, к кому сходились «нити от эмигрантских центров и белогвардейских организаций». Конечно, все это лишь предположения, но подобрать иные мотивировки столь беспрецедентного «государственного теракта» против незаметного «бывшего преподавателя тактики» кажется еще более сложным.

Коленберга не осудили; судя по признанию его ненормальным, он мог быть направлен на «лечение», после чего сгинул. По одному и «в общем порядке» расправились с соратниками «генерала Крымского», приехавшими вместе с ним, и со многими из тех, кто был учеником или просто общался с Яковом Александровичем в Москве. При загадочных обстоятельствах еще в 1928 году скончался в Брюсселе генерал Врангель; в январе 1930-го был похищен чекистами из Парижа генерал Кутепов. Затерялись следы Нины Николаевны Слащовой – Слащовой-Крымской...

Концы в воду.

\* \* \*

«Своего последнего слова Я[ков] А[лександрович] нам так и не сказал, – он унес его с собою в могилу», – писал П. А. Клодт. Но теперь, подводя черту под биографией генерала Слащова и снова и снова задумываясь о загадке ее последнего периода, вернемся к рассуждениям старого командира Финляндцев, в свое время сознательно оборванным нами на полу-фразе: «...Скромная роль “военспеца” едва-ли могла его прельщать, он был слишком крупный человек, чтобы соблазниться такой “серой” будущностью. *И верится, что у него были другие, более широкие планы, и что эти планы были проникнуты тем же духом героизма, который был ему так свойствен*»<sup>74</sup>. Он ошибся и заплатил за это своею жизнью. “Несть человека иже не согрешил”, а та кошмарная обстановка, в которой ему приходилось работать, многое может извинить. В славный венок родного полка Я. А. Слащов вплел не мало новых лавров и имел все данные стать “большим человеком”, а может быть и стал-бы им еще, если-бы услужливая пуля (несомненно чекистского происхождения) не пресекла его короткой бурной жизни».

Так писал человек, знавший Якова Александровича лучше многих; офицеры же, сражавшиеся под началом Слацова в Гражданскую войну, мыслили еще определеннее. «Офицеры эти, – отмечал современник в 1929 году, вскоре после гибели «генерала Крымского», – верят в чистоту намерений и честность Слацова и сейчас; многие из них не верят сведениям о расстреле Слацова большевиками; некоторые и сейчас уверены в том, что Слацов еще сыграет видную роль в освобождении России от красной нечисти!» Подобная уверенность должна была подогреваться опубликованной в парижской газете через неделю после убийства статьей, автор которой интриговал читателя: «Ведь может быть, Слацов и не убит, и это сообщение только очередная провокация!» – и таинственно присовокуплял: «Во всяком случае, о Слацове многого не скажешь...»

Неудачно составленная фраза (наверное, имелось в виду «нельзя многого сказать») подводит нас к ответу на вопрос, почему же, если догадки генерала Клодта были справедливы, в эмиграции не появилось публикаций, «реабилитировавших» покойного Слацова, на котором в глазах многих все-таки оставалось клеймо? Дело в том, что в 1930-е годы еще шла борьба, а открытое признание Якова Александровича «своим» немедленно повлекло бы репрессии против всех, хотя бы соприкасавшихся с генералом в период его жизни в Москве: НКВД, как известно, не утруждал себя поиском основательных обвинений и в более надуманных случаях. А затем события Второй мировой войны и новые перемещения масс русских беженцев совсем отодвинули этот вопрос в тень, – и сегодняшние «побелевшие» авторы с высот своей скороспелой «белизны» небрежно судят «генерала-декадента», «генерала-возвращенца», «авантюриста» и едва ли не «изменника».

Мы тоже слишком долго бродили среди отрывочных свидетельств, зыбких предположений, неподтвержденных догадок. «Унесенное в могилу» последнее слово генерала Слацова-Крымского мучит своей недосказанностью и скорее всего так никогда и не станет с достоверностью известным. Напоследок же приведем написанные в 1930 году слова полковника Лейб-Гвардии Финляндского полка Б. В. Сергеева, чей родной брат и однополчанин остался в России и находился в поле зрения полковника В. В. Жерве, навещавшего, как мы помним, старых Финляндцев (в том числе и Слацова):

«Тревожное положение в России заставило ея нынешних порабитителей поспешно разделаться с наиболее активными врагами советов, наиболее вероятными кандидатами в руководители антибольшевистского движения.

В Москве пал от руки убийцы ген[ерал] Слацов, – в Париже похищен ген[ерал] Кутепов...»

И этот вывод человека, который мог быть весьма хорошо информирован, наверное, достоин того, чтобы стать эпитафией генералу Слацову-Крымскому.

Если бы История была справедлива...